

Александр КОЗИН

г. Павлов Посад

Этот рассказ представляет собой
художественное произведение,
не является историческим документом
и не имеет отношения к мемуарной литературе.



С картины Олега Игнатьева

Осеннний достъ

Pабочий день в маленькой городской поликлинике потихоньку заканчивался. Была пятница, и тесные шумные коридоры давно опустели.

Разошлись уже и врачи, и персонал, и только молодой хирург Сергей Зуев никуда не торопился. Ему нравилось это затишье, эти замысловатые коридоры бывшего купеческого, неоднократно перестроенного особняка, поскрипывающие полы, тихая музыка ветров на обширном, закоулристом чердаке... За окном уже стояли серые сумерки конца сентября, и лишь мокрые деревья живописного, но запущенного скверика чуть расцвечивали их желтизной листвы. Вздохнув и сладко потянувшись, Сергей снял халат и принялся по-врачебному обстоятельно мыть руки. Нравились ему ещё эти немудрёные ритуалы. Нравилось быстро и зrimо помогать людям. И скучные сто рублей жалованья ещё не вызывали скучного раздражения. Всё ещё только начиналось. Мечталось, конечно, об ординатуре, о большой хирургии, о сложных, спасающих жизнь операциях... Но сейчас яснее и ощутимее предвкушался тихий вечерок перед выходными за телевизором, чай с мамиными плюшками и блаженство в кресле у красного глаза радиолы «Серенада» под ночной концерт. Есть и в холостой жизни своя великая прелесть. Сергей с наслаждением вздохнул, снова по-кошачи потянулся и вытер руки. Полюбовался в зеркале прохладно-внимательным выражением своих серых глаз, аккуратным пробором густых светло-русых волос на упрямой лобастой голове, подтянул галстук в тесном вырезе свитера и остался вполне доволен собой. Открыл шкаф и принялся неспешно переобуваться.

Далеко – в регистратуре – раздался громкий телефонный звонок. Ещё и ещё. Трубку сняли. Значит, не он один сумерничает... По коридору прошаркали вялые шаги, и в дверь заглянула пожилая санитарка Алевтина Власьевна.

– Вас, Сергей Викторович, – с ехидцей проговорила она.

– Да? Спасибо... Кто бы это... – растерянно пробормотал Зуев и вышел в коридор.

– Слушаю. Зуев.

– Иши ты, Зуев... – пророкотал в ухо знакомый голос. – Ты не забыл, что сегодня собирается ЛитО?

– Забыл. Да и не хочется, Дмитрий Андреич, – тяжко вздохнул Сергей. – Давайте без меня, а? Устал что-то...

– Нет, Серёга. Сегодня – надо. Ты читаешь. Нехорошо будет. Некрасиво...

– Да ладно, мало ли у нас чтецов. Может, ну его? – просительно проговорил Сергей.

– В другой раз – на здоровье. А сегодня – будь ласков. Ты слышал что-нибудь о Николае Рубцове?

– Слышал... – припоминая, ответил Сергей. – От вас и слышал. Но не читал... И вообще, при чём тут Рубцов? Среди наших-то Пушкиных...

– Не трепись. Он сегодня здесь, в Клязьминске. И великодушно согласился присутствовать. Так что... Сам понимаешь.

– Ага... Может, ещё и трубочку ему передадите? – съехидничал Зуев.

– Иди ты... Из автомата звоню. А он – вон он, бродит. Банку какую-то пинает... Да что я тебя уговариваю-то? Жди. Через пятнадцать минут будем. Вместе!

– раздался щелчок и короткие гудки. Сергей вздохнул и положил трубку. С ним говорил Дмитрий Мягченков, сотрудник одного московского журнала, большой патриот Клязьминска и главный заводила всех литературных дел в городе. Дело в том, что Зуев писал стихи. Даже печатался несколько раз в районной газете. Тут-то и подцепил его Мягченков, ввёл в им же созданное литературное объединение, и они подружились. Были в городе ещё два-три заметных стихотворца, к ним стала подтягиваться неравнодушная к поэзии молодёжь, и к этому времени в городе сложилось довольно крупное и разношёрстное литературное сообщество. Мягченков подался работать в Москву, но по-прежнему живо интересовался происходящим и трепетно относился ко всему истинно ценному. Он с полным основанием считал себя собирателем и объединителем местной поэзии. Издавал даже самодельный ежеквартальный поэтический альманах «Клязьминские сезоны», а его невеличка-дочка Леночка выводила тушью изумительные рисунки.

«Да, а вечер-то пропал... – с горечью размышлял Сергей. – Пропал вечер. Хотя... Рубцов. Из Москвы, небось, приехал, не погнулся. Человек известный, неудобно... Да и интересно, что ж это за стихотворец такой. Хороший, говорят. Эх, чёрт, не читал ничего, стыдно... Да не очень-то его и издают, негде прочитать-то... Интересно. Очень интересно... А вечера всё-таки жаль».

С этими разбродными мыслями Сергей вернулся в кабинет и рассеянно стал одеваться, решив подождать гостей на улице. Но тут грохнула вдали входная дверь, по коридору уверенно и размашисто прошагали, и в кабинет просунулся Мягченков в тяжёлых массивных очках на носу и в академическом – с пипкой на макушке – берете. Было ему лет под сорок, и Зуев, при всей дружбе, сохранял-таки уважительное обращение на «вы».

– Здорово, эскулап! – проговорил он своим звон-

ким, как пионерский горн, голосом. – «Клиники, больницы, дурдома...» Ты – как? Готов?

– Ну... А где же ваш именитый гость? – улыбнулся Зуев.

– Во дворе остался. Неудобно, говорит. С псом вон общается...

– А, с псом... Ну ладно. Пошли! А то покусают друг друга, мало ли... – и, вытолкнув долговязого, в сером шуршащем плаще Мягченкова в коридор, закрыл дверь и устремился к выходу.

– Стой, Зуев! – стеснительно перемялся с ноги на ногу Мягченков и взмахнул чёрным кожаным портфелем. – Это... Сортир у вас где? Еле донёс...

– Да вон, за регистратурой. Только вы не долго... Я ж не умею с большими поэтами разговаривать!

– Не боись! Он простой! – уже на бегу махнул ему Мягченков.

Сергей вышел на крыльце и осторожно, без хлопка, притворил дверь.

Неподалёку, среди старых лип, он увидел невысокого худощавого человека в чёрном пальто, серой кепке и длинном, замотанном вокруг шеи пёстром шарфе. Чуть наклонясь, он неслышно говорил что-то большому, волчье масти остроухому псу, любимцу поликлиники, который помахивал в ответ тяжёлым хвостом и важно переступал лапами.

– Шарик... Ах ты, Шарик... – тихо донеслось до Зуева. Пёс, припав на четыре лапы и присвистнув, подскочил и упёрся передними в грудь «собеседника». Тот замахал руками, поспешно отступил и стал отряхиваться. Сергей, улыбнувшись, направился к нему.

– Даже собаки у вас – и те душевые! – издали сказал ему гость, улыбаясь большими остроочерченными губами. Вот только глаз почти не было видно. Очень глубоко они у него сидели. От этого на лице была какая-то неопределенная тень.

– А как же! – со смешливой значительностью ответил Сергей, вглядываясь в его лицо. – Вы, значит, и есть поэт Рубцов?

– Так точно. Рубцов. Николай, – кивнул головой гость и протянул узкую ладонь. Глаза его были теперь видны. Маленькие, тёмно-карие, улыбчивые, но пристальные и цепкие.

– А я Сергей. Зуев. Работаю тут, – кивнул на поликлинику Зуев, с готовностью принимая рукопожатие.

– Слышал о вас... Тоже, значит, поэт? – вперился в него Рубцов из-под густых тёмных бровей. Зуеву стало почему-то смешно, но он сдержался.

– Да я – что... Так, любитель, – пожал он плечами.

– В свободное время, по ночам...

– Графоманствуете, стало быть? – смешливо сощурился Рубцов.

Сергей тоже прищурился и оглядел собеседника. Нет, не так он прост. Маленький, щуплый, убого одетый, он никак не походил на большого поэта. Но было в этом неказистом облике что-то даже упрекающее. Да и обидеть такого, видимо, очень просто. И доставалось, наверное, не раз ему за такую вот колючность. И откровенно мужицкая кепка придавала его узкому остроносому лицу вид хитроватый и язвительный, будто вот-вот да скажанёт он ещё что-нибудь такое. С подковыркой. Но Сергей был на редкость необидчив и не поддался.

– Чёрт его знает... – рассмеялся он. – Может, оно и так...

Рубцов склонил голову набок, будто взвешивая зуевский ответ, и вдруг тоже рассмеялся. Открыто, беззлобно и заразительно.

– Это хорошо. Это правильно, – кивнул он.

– Что?

– Что не обижаетесь. Не слушайте никого. Пусть болтают что хотят. А вы делайте своё. Тихо и упорно. Это для поэта едва ли не первое дело. Так, по-моему... – и с важностью мэтра скрестил на груди руки. Что было довольно комично.

– Резонно... А вы, Николай, по говору-то северянина... Из каких краёв будете? С Двины? С Сухоны? – блеснул эрудицией Сергей. Знай, мол, наших. Николай со смущённым удивлением остановил на нём взор.

– Ишь ты... Почти в точку. Вологжанин я. Ну, родился-то в другом месте, да и помотался после по разным местам, но корни мои – в Вологде. Там сейчас и живу. Бросил якорь, как говорится... А откуда ж ты знаешь, – изумлённо перескочил он на «ты», – у вас-то здесь тоже кое-где окают, как отличил? И реку нашу, гляди, правильно ударил! Сухона. А то её все здесь Сухоной норовят, поправлять устал! – и уже полная, доверчивая улыбка выплыла на его лицо.

– У друзей гостили, под Устюгом, – ответил Сергей и сам широко заулыбался, вспомнив эти глухие и таинственные края. – Вот и послушал людей. Нет, ваш говор не спутаешь. А места у вас отличные. Воды много, леса... И пароходы смешные, разлапистые такие, как в старину. Шлёт да шлёт по Сухоне, степенно так...

– Пароходы, да... Хе-хе! – и Николай, чиркнув спичкой, раскурил папиросу. – Они уже давно теплодоры, а мне вот нравится – пароходы. Выразительнее. А места... Да как у вас. Воды много, это да. Весной заливает – спасу нет. Мокрый угол – я называю...

Митяй-то где? Пропал куда-то... – беспокойно заоглядывался он.

– Митяй? А-а! – догадался Зуев и хохотнул. – Так он... По нужде зашёл, но вот долго что-то...

– Ну, это дело такое... Это ничего, – понимающе покачал головой Рубцов. – Да вон же он! – и просиял, увидев Мягченкова. Тот, тоже сияющий, вышел на крыльце, и санитарка заперла за ним дверь.

– Я вижу, познакомились уже? – издали крикнул он и подошёл.

– А что же? Доктор – наш человек. Места наши знает! И стихи пишет. Общего-то много! – подмигнул Рубцов Зуеву.

– Стыдно признаться, Николай, но стихов ваших я не читал. Не случилось как-то... – развёл руками Сергей.

– Ну и что? – пожал плечами Рубцов и пристально, чуть искоса посмотрел на Сергея. – Успеешь ещё. А мне это легче. Бывает, встретишь кого – и начинаются цитаты... Не люблю.

– Ну, хватит церемонничать! Пошли. А то опоздаем, неудобно. Тараканыч ворчать будет... – поторопил их Мягченков.

– Слушай, Митяй, может, не пойдём? Ну что людей смущать? – обернулся к нему Николай.

– Устал я от вас, вот чего! Детский сад! А ну, шагом марш! И хватит ломаться, что один, что другой! – размашисто погрозил кулаком Мягченков.

– Во! – поглядел Рубцов на Сергея. – Вот так обхожденъице... А далеко идти-то? – уже на ходу спросил он.

– С полчаса ходу. Можно, конечно, автобусом... Только поди дождись его, – проворчал Сергей.

– Да ну его. Мне бы пешком лучше. Город ваш я полюбил очень. Я ж был тут у вас уже. С год назад. Как со старым другом встретился. В Вологде уже и не так всё... Да и времени нет озираться-то... Скоро этак и сам себя забудешь, – бормотал, как ворчал, Николай. Слушать его было интересно и забавно, он не лез за словом в карман, и всё, что он говорил, было наверняка не единожды пережито и стократно передумано.

Мягченков нарочно повёл их более длинным путьём, старыми улицами, где сохранились ещё столетние дома. Рубцов охал, ахал, всплескивал руками.

– Ну надо же! Ах ты, Господи! Ох ты, мать честная! – воскликнул он, глядя на причудливую резьбу наличников и фасадных досок. – Это ж целая наука! Целый язык! Эх, зарисовать бы... Жаль, не умею!

– Коля, да у вас там на Севере полно этого добра! Сам же деревенский житель... Неужто хуже? – уверял его явно польщённый Мягченков.

– А? Есть, есть... Но не так... Да и говорю, когда

мне там осмотреться? А в деревне... – махнул он рукой. – Не будем о деревне. Грустно. Да и я давно уже городской... Ох ты, а палисадники-то... Любо-дорого, россыпи! – опять восхищённо залепетал Николай. – Вы только посмотрите... Ну, вон георгины, их-то я знаю. А вот эти жёлтые шары? Как называются?

Мягченков с Зуевым недоуменно переглянулись и пожали плечами.

– Не знаете... – вздохнул Рубцов. – И я не знаю. Чёрт, люблю я эти осенние цветы. Что-то в них такое, героическое. И обречённое. Это ж надо: холодно, мокро – а они цветут!

У дома культуры радиозавода было оживлённо. Скоро должен был начаться киносеанс, вовсю работали всякие кружки и секции, и вокруг всё было пестро от разноцветных женских платков, темных мужских полуапальто и разномастных кепок. Преобладала молодёжь. Над самым входом горел яркий фонарь, зазывно светился вестибюль, люди входили, выходили, стояли группками вокруг. Гудел сдержаннй говор и смех. Мягченков зорко огляделся.

– Из наших никого... Все уже там. Это хорошо, – пробормотал он. – Вперёд!

Рубцов и Зуев горестно переглянулись, вздохнули и поспешили за ним.

– А-а, писатели! – приветствовала их старушка гардеробщица в сером пуховом платке. – Здравствуйте, здравствуйте... Что ж припозднились? Ваши-то уже собрались. Все уж тут... – приговаривала она, принимая жёсткий серый плащ Мягченкова и болоньевую куртку Зуева. Рубцов степенно раздевался чуть в стороне, у зеркала. Он был в тёмно-коричневом костюме, поношенном, но вполне приличном. Под пиджаком – синяя рубашка без галстука. Свой длинный шарф он снимать не стал, лишь бережно поправил. Снял кепку, и сразу лицо его стало грустным и беззащитным. Высоченный лоб, подчёркнутый и продолженный обширной – до макушки – ранней лысиной, прямой и острый нос, тень на узком, худом лице и посверкивающие где-то в глубине глаза, густые нечесанные русые волосы на висках и затылке... Было во всём его неярком облике что-то усталое, одинокое, брошенное. Но ощущался и какой-то упрямый, гибкий, но прочный внутренний стержень, чувствовалась устремлённость и одухотворённость. И это не оставляло никакого места для жалости к нему. Он подошёл к стойке, вежливо поздоровался, сдал пальто и кепку и снова отошёл к зеркалу.

– А что это с вами за мужичок такой? – заинтересовалась бабка. – Ишь ты, нестарый вроде, а лысый... И

шарф не снял. Хворает, что ли?

— О-о, тётя Сима, этот мужичок — что надо... Поэт, — покачал головой Мягченков. — На всю Россию поэт. А шарф... Это ничего. Форма у него такая...

— Ну, Митяй, пошли? — выглянулся из-за его спины Рубцов.

— Ты бы, Коля, причесался, что ли... Расчёску дать? — оглядел его Мягченков.

— Хе-хе... Издеваешься, да? Глумись, глумись... — усмехнулся Рубцов, проведя ладонью по лысине. Волосы, однако же, пригладил. Зуев увидел и отметил его оттопыренные чуткие уши. «Сколько ж ему лет?» — мысленно гадал Сергей. И понимал, что это — вопрос без ответа. Рубцов был какого-то неопределённо-зрелого возраста. «Лет сорок», — заключил Зуев и решил не забивать голову.

Методический кабинет, где заседали литераторы, был на втором этаже в самом конце коридора. Он более всего походил на школьный класс. Те же три ряда столов, небольшой подиум у стенда вместо доски, приставной столик председателя. Все пятнадцать человек были в сбое. Когда Мягченков бесцеремонно толкнул дверь и вошёл, председатель литобъединения Тараканов, грозного вида седой стариан, простирая распекал полноватую, с длинной косой девушку, метая громы и молнии по поводу подражательства. А девчонка с видом провинившейся школьницы стояла у стола, потупив глаза.

— Да вы не тушуйтесь, Света... — дружелюбно подбодрил её Тараканов и увидел Мягченкова в дверях.
— О! Вот и Дмитрий Андреич... И Сергей Викторович... Опаздываете, нехорошо.

— Извините, Алексей Семёныч. Не рассчитали... — улыбнулся Мягченков, подходя к председательскому столу. Зуев за его спиной коротко кивнул собравшимся и сел за второй стол рядом с поэтессой Натальей Ковшовой, строгого вида высокой черноволосой женщиной, преподавателем техникума. Рубцов, тихо и стеснительно поздоровавшись, прошёл в задний ряд и сел, спрятав подальше ноги в заляпанных грязью остроносых ботинках. На него заоглядывались, зашептались, но скоро стихли, не увидев ничего интересного.

— В наших рядах, кажется, пополнение, — ехидно провозгласил поэт Валерий Кусков, более известный в городе как скандалист и дебошир. Но и стихи писал неплохие, только уж очень громкие, криклиевые какие-то. Всё это не мешало ему строить из себя занебесную поэтическую личность и разговаривать со всеми свысока. Зуев этого не понимал и не дружил с ним.

Мягченков сказал несколько слов Тараканову, отчего тот ошеломлённо снял очки и заморгал. Кивнул и прошептал что-то отчаянное. Дмитрий прошёл назад и сел впереди Рубцова, который впал в какое-то отрешённое состояние. Будто обдумывал что-то или прислушивался, глядя в пол.

— Ну-с, товарищи... — опомнился Тараканов. — Продолжим. Кто хотел бы высказаться ещё о стихах нашей дорогой Светланы? Наталья Владимировна, вы что скажете?

— Ну что вы пристали к ребёнку, Алексей Семёныч! В школе воспитывают, а теперь и здесь... Другие и не с такого начинают! — отозвалась Ковшова.

— Эт-точно! — подал ленивый голос Кусков. Он сидел развалившись, вытянув длинные и корявые ноги в проход, пренебрежительно поглядывал на всех изпод томно опущенных век и явно нарывался на грубость, убеждённый в полной безнаказанности. — Как начинают, так и пишут. До глубокой старости. Вот что печально... — и притворно вздохнул.

— Какая глубокая мысль, — проворчал Тараканов. — В общем, пожелаем Свете дальнейших успехов... Но с учётом сказанного. По делу, — добавил он, покосившись в сторону Кускова. — Да садитесь вы, что уж как в школе-то, ей-богу.

— Дерево умирает стоя, — съязвил Кусков и вздрогнул. Кто-то из задних рядов влепил ему в шею шарик жёваной бумаги.

— Самы вы... дерево! — выпалила Света и села на место. По залу прокатился смешок. Тараканов встал.

— Внимание, товарищи. Событие огромной важности, — объявил он. — Сегодня у нас в гостях большой поэт из Вологды Николай Рубцов.

Поникшая девушка Света крупно вздрогнула, вскрикнула и, зажав рот ладошкой, вытаращила глаза на Рубцова. Тут же опомнилась и исступлённо, размашисто зааплодировала. Её вяло и коротко поддержали.

— Просим, Николай Михалыч, — продолжал Тараканов. — Расскажите, как вы видите поэзию. И, конечно, ждём стихов... Пожалуйста! — и отступил в сторону, уступая председательское место. В зале захлопали погромче, зашептались, наверно, припоминая что-то.

Рубцов поднялся, поклонился на две стороны и поднял руки в каком-то отстраняющем жесте.

— Да не беспокойтесь вы. Я и тут посижу. Я же всё-таки гость... И чего на меня смотреть? Не Бог весть какой Аполлон. А поэзия... Ну что о ней говорить-то? Надо просто писать стихи. Само всё скажется. А выступить... Выступлю, конечно. Потом. Не хотелось бы никого смущать. Я лучше послушаю. Ничего? — и сел.

— Конечно... Конечно, — закивал головой Тараканов. — Это, пожалуй, правильно. Но, Николай Михаилыч, не забудьте, мы очень хотим вас услышать. К нам такие поэты ещё не приезжали... Ну что ж, товарищи, продолжим. Сегодня у нас выступают Валерий Кусков и Сергей Зуев. Просим!

Раздалось несколько ленивых хлопков, которые оборвал зычный голос Кускова.

— Я, пожалуй, воздержусь, Алексей Семёныч. Как-то я не в форме... Кхм-кхм... — и покашлял на актёрский манер. — Да и текст не взял, торопился, извините...

«Что ж тогда припёрся, обормот? — зло подумалось Зуеву. — Отдуваться теперь в одиночку. Перед самим Рубцовым... Зараза!» И странное, незнакомое волнение до дрожи охватило его.

— Вот так раз! — бросил на стол ручку Тараканов. — Зла на вас не хватает, Валерий Васильевич. Стыдно! Ну что ж... Вам слово, Сергей Викторович. Вы-то, надеюсь, не подведёте?

— Нет-нет. Сейчас. Простите, разволновался что-то... У меня стихотворение.

Зуев встал, кашлянул в кулак, нервно сглотнул, облизал пересохшие губы, глубоко вздохнул и будто спрыгнул с какой-то кручи:

*В душе моей мечта и маета
Причудливым срослись Тяни-Толкаем:
Тянусь себе, толкаюсь, неприкаян,
И совесть оскорбительно чиста...*

С каждым словом читалось всё вольнее, будто просторнее становилось в груди. Закончив, Сергей перевёл дыхание, осторожно, опасливо обвёл глазами зал, поклонился и сел на место. Послышались негромкие беспорядочные хлопки, невнятные реплики. Рубцов по-прежнему, с отсутствующим видом, сидел боком за столом, будто ничего не видел и не слышал. «Что ж, и то хорошо...» — подумал Сергей и вздохнул. Слово взял Тараканов.

— Ну-с, что же... Сергей Викторович — недавний наш участник и соратник... Но, как я вижу, растёт на глазах. Лично я слышу в его стихах уже вполне зрелые поэтические ноты... Стихи ладные, сработаны на совесть... Образы довольно книжные, но броские, запоминающиеся. Есть, конечно, некоторые огрехи... Но это мелочь. А в целом — спасибо, Сергей Викторович. Такого у нас никто не пишет...

— И не надо! — пробасил, поднимаясь, Кусков. — Мелко это. И длинно. Учитесь, Серёжа. Учитесь быть кратким. Два-три слова — и образ! А душа — че-

го там с ней! Дрожать над ней, кудахтать... Неинтересно! И не по-нашему как-то...

На этих словах Рубцов еле заметно стрельнул глазами в Кускова, криво улыбнулся и опять потупил взор.

— А мне нравится, — бойко тряхнула чёрными волосами Ковшова. — Свежо и ярко. Написано с душой, от души и о душе — и прочитано так же. И что тут говорить? Хотя понимаю, что некоторым очень нравится корчиться из себя маститых... Вот это, простите, действительно мелко. У меня всё. Спасибо, Сергей Викторович!

— А, ну ясно, — ослабился Кусков. — Солидарность... — и он понимающе покачал головой. — Серёжа! Да ты здесь даже не доктор! Ты прозектор, вот кто! Душу разрезал, отпрепарировал, — вот вам сердце, вот печень, а вот и прямая кишка! Анатомический театр какой-то! Спасибо, штанов не снял!

Полетел вокруг возмущённый шепоток, на Кускова зашикали, и он, махнув рукой, сел, по-медвежьи облавив голову. Сергей давно знал этого неуёмного и шумного человека, и слова, на которые следовало бы обидеться, только неприятно шерохнули по ушам. Да и без Кускова, признаться, на этих собраниях всегда было скучновато. Он своими выходками хотя бы разгонял сон.

— Ну-с, — подытожил Тараканов. — Позиции сторон учтены. А вы что молчите, Николай Михаилыч? — обратился он к отстранённо сидящему Рубцову. — Просим!

Он как-то непонимающе повёл глазами, поднял голову, осмотрелся. Будто разбудили его.

— Да? — растерянно отозвался он. — Вы действительно хотите, чтобы я что-то сказал?

— А ка-ак же! — воспрянул Кусков. — Вы что же — отмолчаться надеялись? Не выйдет! — и картинно грохнул по столу. Рубцов поморщился.

— Вы слишком шумите, — тихо сказал он. — Не надо. Поэзия этого не любит. А стихотворение Сергея... Не придираясь к словам, скажу только о содержании. А его-то здесь и маловато. Форма хороша, но заполнена лишь на четверть, не больше. Вот кто ваш герой? Чисто по смыслу? Бездельник, лентяй, бабник, пьяница и гордец. Ну и что взамен? Хлам — вижу. А вот садов нет. Ну а в целом впечатление очень хорошее. И если не грешить ненужными, в общем-то, изысками... То уровень вполне приличный, — Николай покал плечами и мило, обезоруживающе улыбнулся. — Сам в молодости грешил подобным. А то и чем похлеще...

— Ага! — крякнул со своего места Кусков. — Это значит, сойдёт для сельской местности, так, что ли? Раздолбал вдребезги, а под конец вывернулся, да? Диплома-ат! — и яростно потряс головой.

Рубцов чуть передёрнул плечами и усмехнулся. Жёстко и зло.

— Кусков, хватит, а? — поморщился Тараканов. — Николай, я от имени всех прошу за Кускова прощения. Он сам всё понимает, но такой вот выпендрёжный человек. Я очень прошу вас, почитайте нам что-нибудь своё! — и просительно коснулся рукой груди с орденской планкой на пиджаке. И вид этого седого почтенногого человека, кажется, смягчил и чуть смутил Рубцова.

— Да ничего, что вы! — улыбнулся он. — Это вы меня ещё не знаете. Я — хуже. А прочитать… Чёрт, что прочитать-то? — и озадаченно поскреб лысину.

— «Журавлей», Коля… — тихо попросил Мягченков.

— «Журавлей»? Да… Пожалуй, — кивнув, так же еле слышно отозвался он. И встал. И поправил безвольно опавший шарф.

— О журавлях в русской поэзии не писал, наверно, только ленивый, — с нервным смешком обратился он к залу. — Ну и я… Чтобы, значит, не отстать, тоже сложил стихотворение. «Журавли».

И закачался, загудел, наполнил маленький зал его раскатистый сипловатый баритон.

*Меж болотных стволов красовался
восток огнеликий…*

*Вот наступит октябрь — и покажутся вдруг журавли.
И разбудят меня, позвовут журавлиные клики
Над моим чердаком, над болотом, забытым вдали…*

Люди вздрагивали, оборачивали, широко раскрыв глаза, ошеломлённые лица, привставали, затаив дыхание. Зуев застыл и, кажется, вовсе забыл дышать. Даже Кусков напрягся, подобрался и напряжённо вслушивался, хлопая выпуклыми бычьими глазами. А Николай читал. Читал спокойно и сдержанно, тихонько отмахивая рукой широкий, величавый, балладный шаг пятистопного анапеста.

*Широко по Руси предначертанный срок увяданья
Возвещают они, как сказание древних страниц.
Всё, что есть на душе, до конца выражает рыданье
И высокий полёт этих гордых прославленных птиц»*

Как заколдованный, не спуская глаз с Рубцова, медленно поднялся и застыл монументом Тараканов. Хрустнула и сломалась в руках Ковшовой пластмассовая шариковая ручка. Приоткрылась дверь, и какие-то удивлённые лица просунулись из коридора. А Николай читал. И звенела, гудела в его громком, но спокойном голосе удивительная, ясная, яркая мощь

неосознаваемого пока, но очень простого, чистого и прозрачного смысла. Того самого, с которым идут люди на бой. С которым, наверно, не страшно и умереть. Или просто прожить долгую жизнь, не ропща ни на какие невзгоды.

*Широко на Руси машут птицам согласные руки.
И забытость болот, и утраты знобящих полей —
Это выразят всё, как сказанье, небесные звуки,
Далеко разгласит улетающий плач журавлей…*

И было за этим кажущимся спокойствием неимоверное напряжение, прорывались где-то на задворках смысла страшноватые, режущие, трагические ноты, и Рубцов походил на дирижёра невидимого волшебного оркестра, исполняющего неслыханную симфонию.

*Вот летят, вот летят… Отворите скорее ворота!
Выходите скорее взглянуть на высоких своих!
Вот замолкли — и вновь сиротеет душа и природа
Оттого, что — молчи! — так никто уж не выразит их…*

Николай замолчал, вздохнул и сел, сутуясь и низко опустив голову. Какое-то мгновение в зале стояла полная, гробовая тишина, чуть сдобренная ленивым жужжанием проснувшейся мухи. И тут все выдохнули, отчего пронеслось по рядам глубокое и звучное «а-ахх!» — и грохнули аплодисменты. Такие, что задрожали, кажется, стёкла в трёх больших окнах. Но они быстро перешли в негромкие отдельные хлопки и смокли. Тараканов снял очки и вытер глаза. Ковшова, часто моргая, открыла сумочку, достала косметичку и принялась нервно приподгребаться. Зуев сидел истуканом, не в силах справиться с невероятной силы спазмом, сковавшим горло и грудь. Мягченков тихонько кивал головой и понимающе улыбался. Тараканов вышел из-за стола и пошёл по проходу к Рубцову.

— Николай Михалыч… — бормотал он на ходу. — Да вы хоть понимаете… Что наделали… Это же событие! Вы гений… Гений! — он подошёл вплотную к Рубцову, желая, видимо, поклониться, но тот быстро встал и удержал старика за плечи. — Спасибо вам. Отцовское… Стариковское моё спасибо!

И они коротко обнялись. Вокруг захлопали.

Полная, белолицая, веснушчатая Света, сдвигая стулья, проворно, как мячик, подкатилась к нему.

— Николай Михалыч… — и её широкое лицо вдруг ярко покраснело. — У меня… у меня есть ваша «Звезда полей»… Но она дома. Вы напишите мне что-нибудь… Вот, на листочек. Я вклею…

— Ишь ты... Давай. Звать-то как?

— Света. Астанина... — и зарделась ещё сильнее.

— Ну, вот... Держи.

Девчонка пробежала глазами две строчки на тетрадном листе, улыбнулась.

— Спасибо, Николай Михалыч... Вы даже не представляете... — залепетала она.

— Да всё я представляю, Светланка. Даже больше...

Будь здорова, — улыбнулся ей Николай. И со всех сторон потянулись к нему листки и какие-то книжки.

— Ну, ребята... Я ж не артист, мне такое и непривычно... Да неудобно, ей-богу... Ну что вы... — бормотал он, черкая что-то наспех и отмахиваясь от восхищённых охов, ахов и приыханий.

— Это слава, Николай Михалыч... Вот она. Принимай и не скрипи, — рассмеялся, обернувшись, Мягченков. Вокруг Рубцова создалось тесное столпотворение. Отошедший от потрясения Зуев с восхищением и лёгкой завистью глядел на всё это, понимая, что ничего подобного ему уж точно не светит. А ещё в этой суете никто, кроме него, не заметил ухода Кускова. В самом начале этой беготни он тихо поднялся и гордо пронёс свою косматую шевелюру к выходу. Спасибо, дверью не хлопнул.

Но вот всё отшумело, успокоилось. Влажно блестя глазами из-под очков, Тараканов закрыл заседание. Расходясь, долго гудели, гомонили и прощаались в вестибюле. Подходили к Рубцову, жали руку. И вот у раздевалки остались лишь Рубцов, Мягченков и Зуев. Николай, надев пальто, отошёл к зеркалу колдовать над своим шарфом.

— Ишь, раздухарились-то, никогда так не было! — со вздохом проговорила из-за стойки усталая гардеробщица. — Силён, видать, поэт-то ваш! — кивнула она на Рубцова.

— Ого! Ещё как! — кивнул Сергей.

— А буйного-то вашего что ж обидели? Вылетел как ужаленный, убежал... Это он его, что ли? Надо же, в чём душа держится, узенький такой — и сразил! Ну и ну... Как его фамилия-то?

— Рубцов, тётя Сима. Николай Рубцов, — тихо ответил Мягченков, осторожно покосясь в его сторону.

— Рубцов, значит... Запомню. Ой, сюда идёт... — и старушка, махнув рукой, скрылась за вешалками.

— Ну, Митяй... Веди куда-нибудь, что ли... — тяжко проговорил Николай, нахлобучивая кепку. — Устал. Надо бы чего-нибудь... А? — он шумно сглотнул, и по его лицу пробежала горькая судорога.

— Придумаем... — неопределённо ответил Мягченков.

— А пойдёмте ко мне, Николай Михалыч? — робко

предложил Сергей. — Посидим, выпьем, с мамой вас познакомлю...

— С мамой-то? Ой, не надо, Серёжа. Не надо. Матери — они такие... Начнёт жалеть... Да и неудобно, напьюсь, ляпну ещё чего... О! — вздрогнул он. — Это ещё что...

В дверях вестибюля появился, размашисто шагая, Кусков. Приостановился, заоглядываясь и решительно направился к ним.

— Так-так... Это что же? Бить будет? — насмешливо пробормотал Рубцов. Мягченков тихо, с присвистом, выругался.

— Николай Михалыч! — проревел Кусков, радушно осклабился и раскинул руки, как для объятий. — Вот вы где! А мы-то заждались!

Подбежал, схватил рубцовскую руку и яростно затряс. Николай чуть поморщился, но тёмные, внимательные глаза его глядели с напряжённым, выжидющим интересом.

— Я потрясён! — выкрикивал он, продолжая трясти Рубцова за руку. — Какая мощь! Какая матёрая русская силища! Какая пронзительная... изобразительность! — он явно путался в словах. Зуев почувствовал свежий водочный запашок.

— Ну... А чего ж сбежали-то? — вяло улыбнулся Рубцов.

— Отходил! — гулко выдохнул Кусков. — Отходил от впечатления! Ох, как вы меня перевернули! — и, схватив в горсть свитер на груди, сделал яростное вращательное движение.

— Спасибо, — учтиво кивнул Николай. — Всего хорошего...

— То есть как? — ошеломлённо откинулся назад Кусков. — И всё? Нет, дудки! Милости прошу к нашему шалашу. Посидим, покалываем. Есть о чём! За поэзию, за дружбу, по-простому...

— Да не надо... — тихо пробормотал Рубцов. — Некстати...

— Ну что вы, Николай Михалыч! Ну что уж, так трудно снизойти до нас, простецов? — забасил, загудел Кусков. — Ну, я ж не гордый, я и на колени встану...

И потянулся уже было вниз, но Рубцов и подскочивший Мягченков схватили его под руки.

В глазах Николая вспыхнули злые, колючие искорки. Вспыхнули — и погасли.

— А пойдём, Митяй, — неожиданно тряхнул головой он и сжал губы, будто затевая что-то. — Чего мы, в самом деле... Всё равно некуда нам. Пойдём...

— Коля, да на кой? Приключений захотел? А, хрен с вами! — безнадёжно махнул Мягченков. — Ну и куда пойдём-то? В подъезд? Под мост? Как всегда?

— Не горюй, Дима! — хлопнул его с размаху по плечу Кусков. — Всё сговорено! К Вовке пойдём. К Черухину. На Соборную горку. Уже расставлено и налито! Серёга! Ты с нами или против нас?

Зуев вопросительно глянул на Мягченкова. Тот мучительно покусал губы и кивнул. И они вчетвером вывалились на тёмную, чуть подсвеченную редкими фонарями улицу. И гардеробщица тётя Сима перекрестилась им вслед.

По дороге Кусков завернул в магазин за сигаретами, и наступила долгожданная тишина.

— Коля, — тихо и зло заговорил Мягченков. — Ну и зачем это? Ты что, не понимаешь, чем это кончится? Поскандалить не терпится? У него ж чёрт-те что на уме! Пойдём отсюда, пока не поздно!

— Да не дрейфь, Митяй. Всё будет в рамках. Он, конечно, того... — и Николай постучал пальцем по виску. — Ну да и мы... И неудобно, Митяй. Это я в Вологде у себя кого хочешь пошлю. А тут... Тут нельзя. Да и посидим хоть, на людей посмотрим... Ничего!

— Ох, Коля! Смотри! Я же тебя знаю! — размашисто погрозил пальцем Мягченков. — Серёга, ты идёшь с нами. Мало ли что...

— Ага! На случай экстренной медицинской помощи! — в тон ему съязвил Рубцов. Мягченков плюнул и страдальчески промычал что-то невразумительное.

...Это был обыкновенный, в два подъезда, бревенчатый барак на окраине, неподалёку от городского кладбища. Тёмный, отсыревший, с двумя этажами квадратных окошек в облупленных наличниках. У ближайшего подъезда курил и явно томился невысокий тёмноволосый паренёк. Кусков подошёл первым, и он что-то недовольно сказал ему.

— Во! — обиженно вытаращился Кусков. — Мы к ним спешим, а они уже гуляют вовсю... Ни стыда, ни совести! И мы ж им ещё и виноваты. Вот, Коля, полюбуйся — отношение к творческим людям! Стыдова! Такой человек пришёл, а им только бы наклюкаться!

Мягченков и Зуев тягостно переглянулись. Кусков становился невыносим. В его голосе всё отчёгливое раздавались барственные, покровительственные и какие-то злорадные нотки. И особенно покоробил этот внезапный переход на «Коля». Не ускользнуло это и от Рубцова. Он еле заметно вздрогнул, и обычна добродушная улыбка сошла с его лица.

— Ну, проходите, проходите, чего на пороге-то... — и паренёк пропустил гостей вперёд. — Третья дверь направо! Осторожно, порожек!

— Это хозяин. Черухин Владимир, — важно пояснил Кусков. — Самый трезвый у нас человек. Но любит лю-

дей, гостей, веселье... Здесь жизнь такая, нельзя без этого. А сам — рабочий человек, монтажник на радиозаводе. Всё у нас просто, Коля. По-нашему. По-русски...

— Да заткнись ты, труба ивановна! Уши прогудел! Бывают же балаболы, но таких поискать! — проворчал ему вслед Черухин.

— Ничего-ничего! — натужно рассмеялся Кусков. — Я правильно гудю... Или гужу? Э, Вова, а это... Ольгата? Тут?

— А где же? Тута! Как штык... — буркнул хозяин. И Кусков, приосанившись и не дожидаясь спутников, поспешно скрылся за дверью комнаты.

— Хамло, — пожал плечами Володя. — А вы, значит, известный поэт? И книжки есть? Отдельные? — с не-поддельным интересом обратился он к Рубцову.

— Есть... Немного, — улыбнулся Николай.

— Ух ты... Редкость для нас такие гости... Спасибо. Вот только этого бы дурака сплавить куда. Посидели бы по-человечески. Даже и пить-то ни к чему... Да начали уже, что там, — с сожалением махнул рукой Черухин. — Уж извините...

Комната была узкой, тесной и холостяцкой-убогой. Жёлтая занавеска на окошке, жёлтые обои да тусклая, без абажура, лампочка на потолке придавали ей гнетущий колорит. Пахло огурцами, варёной картошкой и антоновскими яблоками. Они вместе с прочей закуской лежали в блюдцах, порезанные дольками. Человек восемь гостей сидело у стола. Кусков враскоряку стоял у края на одном колене и взасос целовал руку томно-нетрезвой, наскоро прибанной даме с полурассыпанной высокой причёской. Чуть поодаль ссгутился на табуретке и позванивал гитарой нескладный, студенческого вида молодой человек в грубом свитере. Новые гости поздоровались. Мягченков и Зуев подсели к столу напротив студента, а Рубцов неприкаянно стоял, будто ожидал чего-то.

— Коля! Сюда! — махнул ему рукой Мягченков. И он уже устремился было к ним, но налобзавшийся Кусков схватил его за руку.

— Нет, Коля... Сюда. Они? Что они? Кто они? Нечего тебе там... Во главу стола, так сказать... Вот так! — и усадил Рубцова в торце. — А мы с Оленькой уж тут, на углу, скромно... Друзья! Нас почтил присутствием великий поэт Николай Рубцов. Это огромная честь. Итак, Николай Михалыч... Ждём. Не терпим услышать твой вещий голос! Главный голос России!

— Что-что? — вытаращил глаза студент. — Кто?

— Рубцов, — тихо произнёс поэт. — Николай.

Он, видимо, всегда так представлялся, но сейчас в его голосе слышалась раздражённо натянутая струна.

— Спасибо за приглашение, — так же тихо продолжил он. — Мне очень понравился ваш город и люди. И хотелось бы ещё возвращаться и возвращаться сюда. И давайте выпьем. За вас.

Вокруг забулькало. Сдвинулись, скрежетнули гранями стаканы. Рубцов сделал длинный вкусный глоток красного креплённого вина и по-кошачьи облизнулся.

— А я вас слышал. По радио, — проговорил Черухин.
— Вы стихи читали. По голосу вспомнил...

— А? Да... Было дело. А что вы так смотрите на меня? — улыбнулся он студенту. — Рот-то закройте, а то мало ли...

— Ап! — закрыл рот парень. — Извините. Так неожиданно... Здесь, в бараке, в пьянке... И вдруг — Рубцов. Чудно...

— Ну, во Дворец Съездов меня почему-то не приглашают... — ехидно процедил Николай. — Вот и приходится обитать в бараках да общагах...

— Да нет, не то, — смущаясь студент. — Просто... Мы ведь знаем стихи ваши. Пойём их иногда... И вдруг — вы. Собственной персоной. А я вас не таким представлял...

— А это не я! — сварливо огрызнулся вдруг Николай.
— Вы о деле. Как вас? Игорь. Так хорошо начали... Стихи, говорите? Какие же? Очень интересно... — и пытливо уставился на студента. Все притихли.

— Ну, «В горнице», — смущаясь, заговорил Игорь. — «Зимнюю ночь», «Букет»... То, что петь можно. А ещё это — «Замети меня, метель-метелица». Это ведь тоже ваше?

— Да, из старого. До сих пор икается... Так. Что ж, спасибо. Очень приятно. Давайте выпивать, — пожал плечами Рубцов, развел руками и сел. У девушки в кресле вырвался разочарованный взглас. Но остальные одобрительно загомонили, и вокруг опять забулькало.

— Просто я так считаю — либо поэзия, либо пьянка. Совмещать удаётся редко. Обычно неудачно, — счёл нужным пояснить Николай. — Стихи почитаем в другой раз. Забыли, — отрывисто повернулся он в сторону Кускова, взял стакан, глотнул и улыбнулся студенту. — Кое-кто этого не понимает. Ничего не поделаешь...

— А по телевизору не выступали? Не приходилось? — спросил любознательный Черухин.

— Нет, Володя. И знаешь, не хочется, — усмехнулся Николай.

— Пр-равильно! — нарочито громко возгласил уже вполне пьяный Кусков. — Скромность! Настоящие поэты неприхотливы...

— Но похотливы, — вставила сонным голосом его дама. Рубцов, заморгав, остановил на ней взор и многозначительно покачал головой.

Прошло с полчаса. Завихрились винные пары, табачный дымок, расслабленный беспорядочный говор и смешки. Мягченков, по-прежнему собранный и напряжённый, с осторожным беспокойством поглядывал в сторону Николая. А с ним произошли явные перемены. Поначалу он сидел тихо, на самом краешке стула, чуть сутулясь и съёжившись. Потом, выпив, словно отмяк, порозовел, заговорил негромко, но отрывисто с Кусковым. Пил немного, короткими глотками. И с каждым глотком всё ярче вспыхивали в его тёмных глазах пронзительные, колющие огоньки. По мягким, добрым прежде губам всё чаще пробегала нехорошая, бритвенно-острая, жёсткая улыбка. Сам разговор не был слышен. Кусков то кивал, то замирал ошеломлено, то мотал своей лобастой медвежьей башкой. Одной рукой он рассеянно, на отлете, держал дымящийся окурок, а другой разлаписто обнимал дремлющую на его плече крепко захмелевшую Ольгу. Он почему-то чувствовал себя в этом застолье вторым хозяином и всеобщим покровителем.

— Вот ещё барин-то... — с отвращением проговорил Сергей и отхлебнул из стакана. — Тыфу! И баба ещё эта...

— Да это ладно... А вот Коля... Чёрт, и чего он с нами не сел! Не взорвался бы, беда будет, — сквозь зубы нервно процедил Мягченков.

— А ведь может, — понимающе тряхнул головой Зуев и опасливо глянул на Рубцова.

— Вот молчит-молчит, да ка-ак взбесится... Ох, и зря мы сюда попёрлись, Серёга, ох, зря... — вздохнул Мягченков.

Студент Игорь запел под гитару «Клён ты мой опавший». Зуев, расслабившись от хмелька, стал вполголоса подпевать. Было как-то легко. Но Рубцов, едкий и занозистый Рубцов, беспокоил всё больше и больше. Ничего не слыша и не замечая, он цедил Кускову злые, наверняка обидные слова. Кусков благодушествовал, пил водку, сально улыбался и тихонько лапал привалившуюся к нему Ольгу. Николай бесился ещё больше, кусал губы и озирался. А Кусков впал в какую-то подзaborную философию, и, когда смолкли песня, до Сергея донёсся его смачный бас:

— И вот болбочем — женщина, женщина... — лениво выталкивал он слова. — Заврались! А женщина — вот она! Любуйтесь! Пишите стихи! — и тряхнул плечом, на котором спала разморённая Ольга. Она тихо простонала, бормотнула что-то и опять засопела. — Во! Ко всему привыкает, как морская свинка! Да и требует немного... — и самодовольно криво улыбнулся.

— Что? — встрепенулся вдруг Николай. — Да ты чего? Да как у тебя язык-то поворачивается?! — с каждой фра-

зой тон взлетал, и последнее было выкрикнуто так, что звякнули стёкла в хлипкой раме. Мягченков тихо простонал и сжал ладонями виски. Все затихли, замерли. Остановились жующие челюсти, и напряжённые пары глаз ошеломлённо уставились на Рубцова.

— А что, скажешь — не так? И чего орёшь-то? Или у вас там в Вологде бабы иначе устроены? Все-е они одинаковы, Коля, все! На то и женщины...

Не дослушав, Николай резко вскочил и сильно запустил в Кускова стаканом. Он пролетел в сантиметре от виска и с оглушительным звоном разбился о стену. Ольга вздрогнула, подняла голову, осоловело замигала туповатыми глазами. Увидела бешеного, врачающего белками Николая и взвизгнула. А Кусков, выпутив глаза, обиженно дрожал нижней челюстью.

— Ты! Да что ты знаешь о женщинах, ты, жопа?! — всё так же пронзительно крикнул Николай. — Да я тебе язык вырву, гнида!

Зазвенела испуганная тишина. Все мигомпротрезвели. Никто не ожидал ничего подобного от тихого тщедушного вологжанина. Крупный, костиистый Кусков, очнувшись, неуклюже поднялся и, спотыкаясь, полез в обход стола к Николаю.

— Да ты за чьим столом пьёшь... — зашипел он, схватил Рубцова за лацканы пиджака и крепко тряхнул. Николай вывернулся и резко, без замаха, заехал Кускову в нос. Тот опешил на миг, взревел, и, сцепившись в ком, кружась и топоча, поэты выкатились в коридор. Там раздался грохот сбиваемых тазов и вёдер. И только теперь опомнился Мягченков, вскочил, ругнулся сквозь зубы и затолкался к выходу. Зуев поспешил следом. За ними поднялись и другие. Невозмутимый хозяин, посторонив спящую на столе Ольгу, нашарил где-то веник и принялся собирать осколки разбитого стакана.

Выходя, Зуев чуть замешкался, а когда вышел, увидел, что всё закончилось вроде бы благополучно. На крыльце, сопя, сморкаясь и отплёвываясь, сидел Рубцов. Голова его и плечи были мокры. Выбежавшие гости беспорядочно бродили у барака, курили и гомонили недоуменно. Кускова нигде не было. А Мягченков у крыльца негромко разговаривал с каким-то кряжистым пожилым мужиком с седой гривой. Зуев прислушался.

— Я, конечно, всей этой вашей кухни не знаю, — веско и тихо говорил мужик. — Но раз ты там над ними командир, так скажи ты этой обезьяне, чтоб не шлялась сюда. И сам не води никого. Нехрен ходить, развести себя не умеют... А покалечились бы? Или убили кого? Мне это здесь надо? А ещё поэты! Тыфу! Неужто и Пушкин таким был, а?

И пока Мягченков смущённо благодарили и извинялся, Зуев подошёл к Николаю.

— Ну, как вы? — и с удивлением обнаружил в тёмных его глазах уже знакомую смешинку.

— А! — махнул рукой Рубцов. — Не привыкать... Эх, гад, успел-таки нос мне расквасить, отквитался... Коллега. Хе-хе...

— Ну-ка... — склонился к нему Зуев и ощупал нос. — Больно? А так?

— Ага! — дёрнулся Николай. — Да нет, ничего... Кровь уймётся — и всё...

— Вроде не сломал. Ушиб только. Завтра припухнет, а так ничего...

— Да брось! Фигня это. На мне ж как на собаке, я ведь детдомовский! Не такое видали... — и замолк, глядя в темноту.

— Хэ-хх! — рассмеялся он вдруг. — А этот мужик — молодец. Тут же подоспел, гаркнул — этот бармалей хвост и поджал... Я на него, а мужик меня в охапку, руки заломил — и вон в ту бочку... Раза три макнул. Как окрестил! Я сперва-то ярился, да без толку, а потом и охолонул. Вода... Оттягивает она, хорошо... Он уж отпустил, а я сам ещё полоскался... Фу-уф, будто и не пил ничего!

— А Кусков-то где? — огляделся Зуев.

— Хрен его... Смылся вроде. Этот мужик тут вроде в уважухе, знает он его, что ли. Был — и нет...

— Эх, Коля, Коля... — качая головой, подошёл к ним Мягченков, — я же тебя предупреждал...

— Ну... — развёл руками Николай. — Ну вот не послушался. Ну такое уж я говно...

Мягченков яростно плюнул, отшёл, пнул ногой кучу мокрых, слякотных листьев. Вернулся.

— Ладно. Собираемся и пошли. Хватит. Вставай! — и потянул Николая за рукав. Тот отцепил его руку, встал, выпрямился и с медленным достоинством поднялся на крыльцо.

В комнате было пусто. Лишь сопела за столом беспробудная Ольга да Володя деловито, не глядя на вошедших, собирали посуду. Бестолково постояв и помолчав неловко, они поснимали с гвоздей свою одежду, влезли в рукава, смущённо переглянулись, вздохнули и вышли за порог.

В воздухе стояла мелкая дождевая пыль. Кромешную тьму нет-нет да пронизывали нетвёрдым, шатким, подрагивающим светом уличные фонари. А под ногами чвякала и хлюпала каша из размокших палых листьев. Зябко и неуютно было Зуеву, но домой совсем не хотелось. Слишком нов, интересен был ему этот странный, резкий, нетрезвый и, судя по всему, очень несчастливый

человек. Таких не было. Нигде. Ни рядом, ни вокруг. Он нёс в себе загадку. Никак не бралось в толк, не вязалось, что вся эта внешняя обычность, мелкость и невзрачность может скрывать под собой огромную поэтическую мощь и силу. Сергей всё ещё трепетал под впечатлением сегодня прочитанных «Журавлей», всё так же захватывало дух и слёзно свербило в носу. И что бы ни говорил сегодня Николай, как бы ни чудил — никакая дурь не приставала к нему. Он долго возмущался и ядовито костерил Кускова и ему подобных, ругал и себя за глупое упрямство. Но сейчас Мягченкову как-то удалось перестроить его на мирный лад, и он притих.

— Митяй, да я ж не шалаву эту защищал! Что ты! — уже спокойнее пытался он объяснить своё поведение. — Просто я... Нет, ну не могу я, когда эти скоты ещё и умничают! — нервно затряс он руками. — Я терпел до последнего, ты же видел! Сидит, жрёт, пьёт, рыгает, бабу лапает — и туда же, в философию! А эта шлюха ещё и подвякивает! Тыфу! Я понимаю, сам виноват, попёрся, вас подбил... Но хотелось... — и он поднял к глазам полуразжатую ладонь и замолк в раздумье, глядя в неё, как в зеркало. — А впрочем, чего хотел, то и получил! — и шмыгнул подбитым носом.

— Вот потому-то кто поумней, те тебя и избегают, — улыбнулся Мягченков. — Скандала не хотят.

— А я, что ли, хочу? Но, знаешь, тяжело. Ох, тяжело, Митяй! Сколько ни пиши о доброй да милой Руси, сколько ни клянись ей в любви... —моё, да неправда всё это! У неё подчас такое мурло... Вон они. Довольные. Жрут и гогочут... Так бы вот размахнулся и харкнул в них! С соплями! Чтоб текло! Как я их не-навижу...

— Во-во, — кивнул Мягченков. — А они — тебя. Ты же им живой укор. И живёшь иначе, и пишешь... Они-то так не могут, вот и бесятся. Ты высовываешься. А это по их меркам — нельзя.

— Да иди ты, Митяй... Я — просто — пишу стихи. И это — вот это, — он рубанул ладонью воздух, Е-моё. А не нравится кому — утритесь. Я же в вашу жизнь не лезу, отвалите от меня, в конце-то концов! Так нет же — Рубцов такой, Рубцов сякой, пьяный-сраный... Вот брошу пить — им и вспомнить нечего будет, когда помру! Вот увидишь! Скоро уже...

Мягченков плюнул и тихо, ядовито ругнулся. Матом.

— В крещенские морозы? — зло спросил он.

— Ага, — рассмеялся Николай. — Запомнилось?

— Ещё бы... — вздохнул Мягченков и замолк.

— Нельзя так, Николай Михалыч, — неуверенно подал голос Зуев. — Со смертью не шутят...

— Ещё один! — резко обернулся поэт. — Это ты не

штушишь. А мне можно. Мне — в самый раз. И... как тебя, забыл? Серёжа? Тоже ведь поэт, а такую хрень несёшь! Нет, брат, с такими понятиями не фига делать в поэзии... Много в ней разных слов, ими и держится. Но вот слова «нельзя» она не знает. И если ты этого до сих пор не понял... Брось это дело. Не сотрясай воздуха, Бога не гневи...

— Вам, значит, можно? Гневить? — усмехнулся Сергей. Очень хотелось обидеться, но — вот странность! — никак не получалось.

— А на меня и гневаться-то грешно. Мне вроде как простительно. Что с убогого взять? Человек дикий, деревенский... Пьющий опять же. Ведь так? Так на меня и смотрят... А Бог — он глубже видит. И понимает побольше. А прогневается, так что ж... Его воля. Вот так-то. Доктор... Зуев, — с улыбкой закончил Николай, и фамилия Сергея в его устах прозвучала как нецензурное прилагательное. На язык пришла ответная колкость, но Зуев промолчал.

— Ты, Серёга, не серчай, — примирительно проговорил Николай. — Не обижайся, если я что не так... Ещё увидишь, что я прав.

— Я и не спорю, — пожал плечами Зуев. — Только вот это ваше «брось» — не пойму. Почему? Вам больше дано, мне меньше. Вы пишете, а мне, выходит, всё-таки нельзя? У вас журавль в небе, у меня синица в руке. Почему ж мне-то нельзя?

— А потому, — выдохнул Николай, сходя с дороги к берегу реки. Загребая ногами ворохом листвы, его спутники пошли за ним и остановились у самой кромки тихо плещущей воды. Крутой берег напротив тут и там был расцвечён желтизной уютных окошек, будто сотни свеч зажглись там, за Клязьмой.

— Потому, Серёжа, что чушь это всё, — спокойно, с неторопливым достоинством продолжил Николай. — Нет этого ничего. Журавль... Синица... Это ж не зоопарк, Серёжа. Это поэзия. Она или есть, или... Вот и вся мудрость. Ты ведь доктор? Вот и лечи людей, Бога не забывай. На хрен тебе ещё и поэзия? Хочешь стать, как я? Невелика честь, Серёжа. Ты хоть знаешь, как я живу? И не надо. Взвоешь. Но я — ладно, я детдомовский, никогда хорошо не жил. А ты... Да, стихи у тебя хорошие. Звучные. Но, Серёжа, извини, ну нет в них такого, ради чего жизнь в распыл пустить можно. Ну не стоят они таких жертв, хоть тресни. Сам же понимаешь. А угробиться на этом — раз плюнуть. Пушкин, что ли, хорошо жил? Всю жизнь от плевков отмывался... А в нашем веке? Это сейчас советская власть подобрела, слава Богу, а было же дело — за стихи сажали, ссылали, стреляли даже... Так

что капризная она баба – поэзия, лучше от неё по-далъше, если не чувствуешь в себе... Достаточного. Понимаешь?

– В общих чертах, – кивнул Сергей. – Так значит, всё-таки нельзя?

– Да почему, можно, – пожал плечами Рубцов. – А вот надо ли? Но это уж сам... А впрочем, ну его! – вздохнул он и махнул рукой. – Надоело всё! Разговоры эти, споры ни о чём... Тыфу! – он снял кепку и подставил лысину моросящему дождю. – Как хорошо-то! Стоял бы так и стоял. Река, дождик, огоньки... Осень наша бесконечная... Вот бы что ценить, а не умеем. Всё пыжимся, выкорёживаем из себя... Дурдом какой-то!

– Николай, а если честно... Вот вы чего хотите от поэзии? – сознавая всю глупость, брякнул Сергей. Но не мог не спросить, понимал, что больше такого случая, скорее всего, не будет. Мягченков многозначительно покашлял. Николай обернулся и окинул сочувствующим взором их обоих.

– Что хочу?.. Ничего. Знать бы ещё, чего она от меня хочет. А я... Да только спокойно писать стихи. Вот и всё. Да не выходит спокойно. Всё подвиги какие-то, мать их... Хочется ведь чего? Немногого, по сути. Человека изобразить. Настоящего. Достойного. Большого. Сильного. Из нашей сильной земли растущего... Но вот беда-то, нет его! Мелочь одна. Люди мельчают, земля мельчает... Россия мельчает, в конце концов. Гибнет она, ребята. Гибнет. Вот это и есть то самое. От чего жить не хочется...

– Ну, вы уж хватили, Николай Михалыч... Живём же, строимся, развиваемся... – несмело возразил Сергей.

– Это пока, Серёжа. Духовно гибнет. Духовно. Вот тут-то, понимаешь, и нет роста. А это корень. Никак без него. Ты вон посмотри на людей... Мало, что ли, таких вот бармалеев, как этот ваш... Пожрать бы, попить да бабу... это самое. А что пишут! Горе одно! Скоро одни такие и останутся. И вот тогда – всё. Тут всё и кончится. Тогда поймёте. Но поздно будет. Да и уже поздно. Только чудо спасёт. Но для этого верить нужно, а мы... – и Николай безнадёжно покачал головой. – Вот этого, тоски этой, я преодолеть не могу. Никак. Это та самая грань и есть. А за ней пусто. И страшно, ребята, ох, как страшно! – он резко, прерывисто вздохнул и замолк, ковыряя ботинком жёлтую прибрежную траву. Мягченков отступил на пару шагов и тоже потупил взор. Зуев, стоя рядом с Николаем, чувствовал, что нашупывается, просматривается уже эта желанная, заветная нить понимания. И, пре-

одолев последние страхи, с маxу рубанул вопрос:

– Николай Михалыч! А давайте без дураков. Вот вы тут с Дмитрием Андреичем толковали о каких-то крещенских морозах. Что это? Стихотворение? – и впервые не отвёл взгляда от колючих, посмеивающихся рубцовских глаз.

– Ишь ты... – чуть смутившись, проговорил Николай. – Да... Есть такое. Но зачем тебе? Это же... – он как-то предостерегающе покачал головой. – Это такой бзик, что мне бы самому с ним сладить...

– Я понять вас хочу, – тихо, но упрямо ответил Сергей.

– Ну, раз так... Кхм, – прокашлялся поэт, постоял, подышал глубоко. И зазвучал другой, уже знакомый голос, ровный, чистый, спокойный, с глубокими интонациями, будто заговорило устами Николая сизошедшее на него тёмное, бескрайнее осеннеё небо.

*Я умру в крещенские морозы.
Я умру, когда трещат берёзы.
А весною ужас будет полный:
На погост речные хлынут волны!
Из моей затопленной могилы
Гроб всплывет, забытый и унылый,
Разобьется с треском, и в потемки
Уплывут ужасные обломки.
Сам не знаю, что это такое...
Я не верю вечности покоя!*

Это было страшно. Очень страшно. Зуев, вытянувшись в струну, вздрогивал на каждой строке, осязая дыхание и прикосновение чего-то потустороннего, огромного и опасного. Николай читал спокойно, без истерики и завываний, и это, пожалуй, было страшнее всего. И росло, крепло неосознанное, невысказанное понимание, что не зря, неспроста появился в его жизни этот удивительный человек. Будто на разломе каком-то стоял сейчас Сергей. Стоял – и содрогался.

Николай закончил читать – и поник, и обвис, и ссутулился. Неловко вынул из кармана папирису, прикурил, пыхнул несколько раз и бросил. Позади него, серая плащом, высился Мягченков. Зуеву стало вдруг зябко, до того зябко, что он, согнувшись, обхватил себя руками, чтобы не задрожать, не затрястись мелко и дробно. Но эта зябь прошла сквозь него, как электрический разряд, и тут же отступила.

– Ну и ну... Николай Михалыч, но как?.. Как вы с ЭТИМ живёте? – еле смог выговорить он.

– Как? А вот так, Серёжа. Вот так-то и живу... По-

ка. И, знаешь... Не надо об этом. Вот только бы... – Николай озоровато и голодно стрельнул глазами. – Вина бы выпить, вот чего. Митяй, а? – и проситель но обернулся к Мягченкову.

– Да где ж сейчас взять-то? Ночь на дворе... – нес мело усомнился Сергей.

– Не дрейфь, Серёга. Митяй возвьёт. Из воздуха поймает, если надо. Незаменимый мужик... В этом смысле, – и Николай звучно щёлкнул себя по горлу.

– Да иди ты... – буркнул Мягченков, на корточках роясь в портфеле. – Летало – поймал бы, а с тобой хрен поймаешь, таскать приходится... Вот он, родимый! – и извлёк с самого дна портфеля увесистую «бомбу».

– А? – по-детски просиял Николай. – Каков, а? Тебе бы в цирке выступать, Митяй! Во талантище! Куда нам со своими стишатами! Тьфу! Давай, давай её сюда, а то улетит!

И, сорвав зубами пластмассовую пробку, шумно втянул носом воздух и слегка сплюнул слону.

– «Агдам», – прочитал он. – Ка-ак дам! Хе-хе... Ну, я-то уже битый, ничего, – подмигнул он Зуеву и поднял бутылку, будто на просвет поглядел. – Эх-х, люблю вино! Это, как говорится, свято. Глотнёшь – и дышать легче, как крылья какие вырастают... Хоть и дурное, говорят, дело, а, доктор?

– Кому как... – пожал плечами Зуев.

– Вот-вот! Я ж взорвусь без этого, перегреюсь! Да и мозги промывает хорошо. Один чёрт, не допьёшься, так допишишься... Круг какой-то адский... Вот езжу – ещё держусь. А вернусь – и опять вразнос. Климат у нас там, что ли, такой... Солнца мало. Ох, как мало, а без него плохо... А здоровье уже и того... – как-то рассеянно бормотал Николай, сокрушённо покачивая головой и разглядывая бутылку. – Сколько пропито, мать честная... Кто в литры, кто в деньги переводит... А я – в тома. Томов десять уже пропил, увесистых. Да-а...

– Да пей уж, не трепись! – отмахнулся Мягченков.

– А! Ничего ты не понимаешь! – вздохнул Рубцов. – Ну, ребята, бывайте здоровы. За вас. За ваш Клязьминск. Искренние вы люди. Редко это... Тебя, Серёга, особенно вспомню. Душа не заплёвана, вот что важно. А это – про морозы-то – это я так. Не заострайся. Эх-х, – и двумя-тремя быстрыми движениями он раскрутил бутылку и опрокинул в рот. Раздались негромкие жадные глотки. Глядел Сергей на этого маленького, неприметного человека, блаженно засыпшего в позе трубача, на его вздывающуюся под пальто грудь, на тонкую шею под сбившимся шар-

фом, где нервно и судорожно ходил вверх-вниз острый кадык... Глядел и понимал, что видит его, скорее всего, первый и последний раз в жизни. Слишком немыслим, слишком тяжёл был груз, который он на себя взвалил и нёс. Нёс через свою несладкую и неласковую жизнь на маломощных плечах, всё на свете зная, понимая и чувствуя.

Николай оторвался от бутылки, поморщился горько, выдохнул, помолчал и передал её Зуеву, привычным жестом оттерев рукавом горлышко. Сергей сделал пару несмелых глотков, больше не смог, передёрнулся и протянул бутылку Мягченкову. Тот вдумчиво отпил, почмокал и вернул её Николаю.

– Себя не бережём, Коля... – как-то в сторону осторожно сказал он. – Не бережём, не понимаем счастья своего... От этого всё... – и вздохнул.

– Да ну тебя! – маxнул Рубцов. – А что в ней, в жизни, такого-то, чтоб себя беречь? И кто мы в ней такие? Ради чего? Я-то давно всё это понял. Это только сейчас жизнь вроде улыбаться стала. Так, вполоскала. И то спасибо, дождался, так сказать. Письма пишут, стихов хотят. Газеты, журналы... Договор, туда-сюда... Только вот им! – пронзительно крикнул Николай и с выразительным приседанием выкинул руку вперёд в неприличном жесте. Холодный речной воздух далеко разнёс его высокий, рвущийся голос. – Пусть они теперь за мной побегают! Попляшут! А я буду сидеть и выбирать. Долго и нудно! И торговаться за каждую строчку, мать их впередых! На сухари сяду, на воду из-под крана – хрен уступлю! Хватит! Науничкался! Сколько лет их пороги обивал, чтоб ну хоть один стишок ну хоть куда-нибудь пристроить! Дни, месяцы, годы! А я ж без ни копейки, жрать нечего, у друзей побираюсь, достал всех! И вдруг – радость! – напечатали! Обкорнали, всё спутали и, суки, ещё и платить не хотят! У-ух, натерпелся! – и Николай с бутылкой в руке нервно, порывисто, размашисто запорхал по берегу взад-вперёд, матерно шипя и мыча, как от сильной зубной боли.

– А чего было унижаться-то, Николай Михалыч? – пожал плечами Сергей. – Ну не хотят платить – и хрен с ними. Чего зависеть-то от них? Мало у нас работы, что ли?

Рубцов ошарашенно остановился, будто наткнулся на что-то.

– Эх, Серёга-а, – как-то плачуще протянул он, подскочил и схватил Зуева за отвороты куртки. – Я ж в деревне жил тогда, ты хоть знаешь, что это такое... Каякая там работа! У меня и паспорта-то не было, так, грамотка рваная... Да и пойми ты, дубинушка родимая, я

же поэт! Поэт! Это — моё, чужого мне не надо! И ничем другим я заниматься не буду. Не буду — и точка.

Говорил он быстро, но с нервной, прыгающей расстановкой, близко приставясь к Сергею и дыша плотным винным духом. Но видел Зуев только его глаза — колкие, сверкающие, глубокие. Ищущие простого, искреннего понимания. И не находящие. И отчаянные поэту. Он отпустил Сергея, чуть отступил и поник, разведя руками.

— Заполошный ты, Коля. Бедовый. Всё в тебе хорошо, но вот это... — покачал головой Мягченков.

— А что — это? Ты, Митяй, умный. А не понимаешь. Даже этого не понимаешь. Хочешь, чтобы всё было хорошо? Хоти дальше, разрешаю... А, ну его! — и снова снял кепку и застыл блаженно. — Дождичек... Хорошо... Остужает...

— Вот-вот, остудись, успокойся, — вздохнул Мягченков.

— И вышёл в конце концов, что носишь-то туда-сюда?

— А? И правда... Что-то я затрепался! — и размашисто запрокинулся, допил остатки, шумно втянулся ноздрями воздух, размахнулся неуклюже и запустил бутылку в Клязьму. Гулко плохнулась она где-то там, в потьмах, в непроглядную чёрную осеннюю воду.

— Эх, хорошо пошла... — сопроводил он её с ухмылкой. — А в лесок-то завтра мы с тобой, Митяй, всё же сбродим... Сбродим с утречка... Эх-х! — поёжился, достал папиросу, солидно погремел спичками, чиркнул и закурил.

— Пошли уж! Холодно! — буркнул Мягченков.

И снова неспешно шли они клязьминскими окраинами. Коренным, возвышаясь, как башня, выступал Мягченков с полегчавшим портфелем. Справа от него, плотно надвинув картуз, шелестел болоньевой курткой Сергей. А Николай в своём пальтишке и сёром шарфе похожий на тощего, но задиристого ворбоя, то забегал вперёд, то отставал. И мелькал, мерцал, выписывал непостижимые зигзаги, узоры и чёрточки огонёк его папиросы.

— А вы... Вы когда уезжаете, Николай Михалыч? — вдруг спросил Зуев. Ему показалось, что вот оно — свершилось. Явился наконец тот человек, которому безоглядно веришь, в котором нуждаешься, которого хочешь видеть рядом с собой — пусть не всегда, но хотя бы почаше. Долгожданный человек во всём его неудобстве.

— Уеду? Да уеду... — пожал он плечами. — Вас-то я завтра покину, хоть Митяй вздохнёт свободно... А жалко. Хорошо здесь. Загляну, может, ещё, если приведётся. Ой, Митяй! — испуганно вытаращил он глаза, взглянув на часы. — Полпервого уже! Е-моё, что

настёна-то твоя скажет? Во будет! — и растерянно покачал головой.

— Не боись, Коля, — сквозь сжатые зубы выдавил Мягченков. — Ничего не будет.

— Ну? — с недоверием передёрнул плечами Николай, и словно волна какая-то поднялась в нём. — А то, знаешь, я ведь не гордый. Я и на вокзале могу, если что... Я привычный!

Мягченков икоса глянул на Сергея и отчаянно зажмурился. Николай выкрикивал ёщё что-то, ругался, махал руками и подскакивал. При его совсем не грозном виде это было нелепо и даже смешно. Но Мягченков вдруг засопел, надулся и оскалился.

— Коля! — рявкнул он. Сергей вздрогнул. Николай замолчал, замер и захлопал глазами.

— Хватит, Коля. Хватит, — уже спокойно и устало проговорил Мягченков. — Не егози, не надо. Идём. И никаких вокзалов...

— Хе-хе... — криво усмехнулся Николай. — А ты младец, Митяй. Внушаешь... Эх-х, ладно, — решительно махнул он кулаком. — Пойшли. Всё стерплю. Но, — и он поднял палец. — С одним условием. С утра — в лес. Обязательно!

— Ишь ты... Пообещал ведь на свою голову... Пойдём, пойдём. Если встанем...

— Встанем, Митяй. Подниму. Ну это что же, сами посудите — осень уже вовсю, а я ни разу в лесу и не был! Позор какой! Самая пора!

— Может, и я с вами, а? — нерешительно подал голос Сергей.

— А? Давай. Приходи к Митяю часам к семи, как раз очухаемся. И — рванём! Ох, и разгуляюсь же, ох, и поброжу! Вот поспеть бы только в Москву к вечернему поезду! Ну, это ладно, будет день...

— День... Утро бы пережить, Коля... — тяжело вздохнул Мягченков.

Прощались недолго. Обменялся Зуев размашистым, громким рукопожатием с Рубцовым, после чего Николай многозначительно вскинул кулак в «прот-фронт». Коротко и грустно, взаимопонимающе, поручкался с Мягченковым. И разошлись. Пройдя несколько шагов, Сергей обернулся и увидел, как неторопливо и чуть покачиваясь бредут, уже еле видные в ночной дымке, две фигуры разного роста, грустные и одинокие. Исчезающие люди... Да, исчезающие. И шёл домой Сергей, не замечая луж, приостанавливаясь, вздыхал, тряс головой и шёл дальше, не в состоянии переварить, упорядочить все события этого удивительно длинного вечера. И трепетал, вспоминая трагично-величавых рубцовских «Журавлей», и холдел под впечатлением маленького,

незатейливого, но чудовищного по смыслу стихотвореньца, прочитанного Николаем на берегу реки. Оказывается, можно ведь и совсем не ценить жизнь. Или ценить, но по-другому, не так, как все. Но как?

Проснулся он поздно. На часах было полдевятого. Вздрогнул, понял, что опоздал, обругал себя за лень и неосмотрительность и опять заснул. Проснулся в десять, встал и долго, досадуя, бродил по двору. День был, кажется, безнадёжно испорчен, хотя... И, напрягшись, глянул он в сторону колокольни с часами. Было полдвенадцатого. Может, попробовать?...

Калитку открыла ему Лена, десятилетняя девчонка, дочка Мягченкова. Живая, смешивая и по-доброму отзывчивая, она втащила Зуева за руку во двор, а потом и в дом. Взрослых никого не было, и Ленка принялась показывать гостю свои рисунки. Ими были увешаны весь коридор и большая комната. Карандашные, пастельные, акварельные... Преобладал пейзаж. Милый сердцу, среднерусский, с неизменными бревенчатыми домиками, речкой, лесом и синим небом с мирными облаками. Это были ещё совсем детские работы, но среди них была одна, выполненная на альбомном листе. Густая высокая полевая трава гнулась и колыхалась на ветру. Вздымались и пригибались сочные тёмно-зелёные стебли, с цветов летела пыльца. А по небу дымными линиями неслись к горизонту обрывки облаков. «Ветер» – было подписано в уголке старательными каллиграфическими буквами.

– Ленка! – обернулся в коридор восхищённый Зуев. – Вот это здорово! Чудо просто! Это, знаешь ли... А у тебя только это? Природа, виды?

– Ну, пока... – коротко прозвенела Леночка, выворачиваясь из-за дверного косяка с надкусанной антоновкой в руке. – Портреты пробую, но это труднее... – и шустрые глазёнки испытующе оглядели Сергея. – Сейчас прибегу! – и с быстрым мягким топотом скрылась в глубине дома. И тут хлопнула входная дверь.

– О, у нас опять гости! – раздался звонкий, певучий голос Анастасии Александровны, хозяйки дома. Она вошла с авоськой в руке. Оттуда выглядывала пачка макарон, какие-то бумажные пакетики и консервы.

– Да, опять гости, – развёл руками Сергей, выходя встречать.

– Здравствуйте, здравствуйте, Серёжа... – приговаривала хозяйка, вдевая ноги в тапочки. – Ну, как вы себя чувствуете?

– Да что вы, я ж почти не пью... – замялся Сергей. – Спасибо, хорошо...

– Ну и славно. Да и мужики вроде вчера не очень пьяные пришли, аж удивилась... Коля вот только... –

покачала Настя головой. – Кто ж ему поносу-то?

– Да ничего, могло быть и хуже... Разняли... – потупясь, ответил Сергей.

– Да, жалко его. Такой талантище, а как был всю жизнь бесприютным, так и остался... – и она скрупулёзно вздохнула, оправив тяжёлые медные волосы.

– Вот, посмотрите! – выскочила откуда-то Ленка с листком. – Узнаёте?

Сергей осторожно взял рисунок из её рук. Через плечо заглянула Настя и ахнула. Зуев глядел и ошеломлённо улыбался.

– Надо же, Коля! – рассмеялась хозяйка. – Ну, егоза! Как подкараулила-то? Ох, Ленка...

Это был даже не портрет ёщё, а карандашный набросок со следами ластика. Несколько уверенными мягкими линиями было запечатлено узкое лицо, острый прямой нос, чуть припухший в переносице, высоченный тяжёлый лоб, осторожная улыбка на мягких подвижных губах. И глаза. Острые, тёмные, глубоко сидящие, как два ружейных ствола, пытливо направленные куда-то в пустоту. И, конечно, уши. Оттопыренные, маленькие, круглые, они смотрели вверх чутко и настороженно.

– Ленка, да ты чудо! И ухитрилась же... – бормотал Сергей, с особой пристальностью разглядывая рубцовские уши. Они, именно они, а не глаза были центром притяжения этого портрета.

– Да так как-то... Он долго не ложился, сидел вот тут за столом, со мной всё разговаривал... О жизни своей рассказывал, про детский дом, про флот... А потом гитару взял, песню спел. Красивую. Как колыбельная. Там зима, ночь со звёздами, деревня, огоньки... И свет такой был... От лампы. Ну, я и попробовал. Сижу, рисую, поглядываю. А он и не видит, говорит и говорит... Хорошо так говорит, как со взрослой. У него дочка есть. Тоже Ленкой зовут, в этом году в школу пошла... Добрый он, дядя Коля. Только грустный очень. И усталый...

– Да, насилиу уложили его. Но тихий был, не буйнил, – вздохнув, проговорила Настя. – Ой, Ленка, уши-то, уши! – и рассмеялась заливисто.

– Да, уши действительно... Фактурные, – подобрал Зуев умное словечко.

– А как же! – улыбнулась Настя. – Самые поэтические уши! Может, знаете, Серёжа, у него строчки есть такие: «Я слышу печальные звуки, которых не слышит никто». Вот такими ушами только и можно их слышать. Но Ленка-то какова, а? И откуда что берётся...

– А давно они ушли-то? – спросил Сергей.

– Давно. В семь часов вскинулись-подхватились – и

пошагали, — с задумчивой улыбкой ответила Настя. — Коля-то в полседьмого вскочил, забегал, засобирался, Диму растолкал. Он еле встал. Чего, говорит, егозишь? А Коля ему жалобно так: «Митяй, а в лесок? Как же? Обещал ведь!» Так это смешно у него... И мило. И «Митяй», и «лесок»... Да жизнь собачья у него, вот плохо-то. И пёт здорово. Здесь-то держится, а там у себя... — и Настя, тяжело вздохнув, махнула рукой, будто слезу проглотила. — Тебя ждали, Серёжа. Не дождались. Дрыхнет, говорят, наш доктор... Так и ушли. Скоро уж будут, Коле ехать надо, поезд у него.

— Значит, зайдут?

— Зайдут. Коля вон чемоданчик свой оставил. Вон, за вешалкой стоит, маленький... Мужики с такими в баню ходят, а он — в гости!

— Ну-ка, ну-ка... — с интересом высунулся Сергей в коридор.

Чемоданчик был старый, поношенный, с тусклым маленьким замочком под захватанной рукояткой. Зуев осторожно поднял его. Он был лёгок, будто пустой, но внутри что-то тихонько шерохнуло. Сергей чуть подержал его и поставил на место.

— Да, невелики пожитки у Николая Михалыча... — протянул он со вздохом.

— И не говори... Вот так он и живёт. А шарф-то, шарф его знаменитый... Даже в лес его надел, шею замотал. Дима говорит — оставь ты его, репьёв нахватаешь, зацепишься, испачкаешь... Нет, говорит, мне шею беречь надо, на ней же голова! И с таким удивлением, что никто этого не понимает... Вот человек! — с той же доброй, улыбчивой задумчивостью проговорила Настя.

— Да, Настя! — вспомнил Сергей. — Вы не знаете, у Дмитрия Андреича есть стихи Николая?

— Есть где-то, не знаю. У него же выходили книжки... А до нас же не доходит ничего, да и Коля... Хоть бы привёз! Да где там... Всё у него случайно — приехал, зашёл, уехал... Дима хотел его на магнитофон записать, специально магнитофон купить, да нечаянно Коле проболтался. А он как засыпал, так ни в какую. Иди ты, говорит, Митяй, к чёрту, ещё чего не хватало! Так и не случилось. А стихи есть, перепечатанные. И много. Но я не полезу, это уж с Димой, — весело махнула рукой Настя.

— А хорошая идея — записать-то... Уговорил бы он его, что ли! Я бы поучаствовал. В покупке-то... — воодушевился Сергей.

— Да это ладно... Коля всё. Он если упрётся — не сдвинешь, как бык деревенский! О, кажется, идут! — вздрогнула Настя, и на лице её выразилась страдальческая вопросительность. И суетливо, будто боясь

чего-то, они, сталкиваясь в коридоре, оделись и вышли во двор.

Николай и Мягченков стояли у самых ворот и о чём-то горячо спорили. Хозяин был несколько помят, и глаза из-под очков мутнели усталостью. Одет он был в туристскую штормовку и вязаную лыжную шапочку. А Николай в своём пальтишке, кепке и шарфе был, напротив, весьма бодр и даже румян. Вот только припухшая переносица выдавала вчерашний день, и от этого глаза казались более запавшими.

— Вот и Настя... — кивнул Мягченков, и в его голосе, слабом и хрипловатом, прозвучало непонятное облегчение. — О! И Серёга уже здесь!

Сергей подошёл ближе. Рукопожатие Мягченкова было вялым. Николай поздоровался более цепко и выразительно.

— Здравствуй, доктор. Долго спиши, — тихо, сквозь неяркую улыбку, процидал он. — А мы здорово побродили с Митяем... Эх, лесок! Но вот грибов у вас нет! Безобразие какое... Как здоровье?

— Да я — что... Вы-то как? Нос?

— А, ерунда, зажило уже. Это быстро. Так, лёгкое головокружение. К обеду пройдёт. Если он будет, обед-то... Я не болею никогда. Да мы тут с Митяем, считай, и пообедали, — и осторожно покосился на Настю. И действительно, от обоих слегка понахивало винцом.

— Эх, вы! Нет бы дома выпили, как люди, — покачала головой Настя. — Так ведь как воры — за углом! Ох, мужики! Давайте, заходите. Обедать будем!

— Да Настя, я... У меня ж электричка. Вы мне чемодан мой отдайте, поеду я... — засопротивлялся Николай. — Мне тут ёщё и в Москве надо кое-куда...

— Нет, Коля, не отпуши. Вам есть надо. Вон вы какой худой, вас же ветром сдует! И не спорьте. Макароны будут. С тушёнкой.

— С тушёнкой? — прищурился Николай, склонив голову набок. — С тушёнкой — это хорошо. Это я люблю. По-флотски... — и в его негромком говоре снова проглянуло лёгкое северное оканье.

За обедом молчали. Лишь звенели вилки да старательно сопел Мягченков, нагулявший, видимо, изрядный аппетит. Николай ел неторопливо, обстоятельно, но взгляд его был какой-то далёкий, устремлённый поверх голов и, казалось, сквозь стену.

— Вам бы поспать часок, Коля... — несмело проговорила Настя. — Устали же. А потом и поехали бы, электричек много, выходной же...

— А? — опять встрепенулся он. — Спасибо. Поеду... — и медленно поднялся со стула. — Пора. Уже падают

люстры... — и шаловливо глянул на примостившуюся рядом Ленку. Та тихо рассмеялась.

— Что-что? — не понял Сергей.

— А, ничего. Вон, Ленка знает. Мы с ней вчера очень хорошо побеседовали. Как портрет? — хитро прищурился он.

— А вы разве... — замялась ошеломлённая Ленка.

— А то? Зря я, что ли, тебе весь вечер позировал? Давай показывай, чего уж!

Ленка изумлённо покрутила головой, сбежала в комнату и принесла альбомный листок. Николай долго взглядывался, склоняя голову то на одну сторону, то на другую.

— Ишь ты... — приговаривал он. — Ну и ну... И нос подбит, хе-хе... А уши-то! Ну, мастерица, не ожидал! Здоровово. Всё так, Леночка, всё так... Немножко грустный, немножко выпивший, чуть побитый дядя Коля Рубцов, хе-хе... Слушай, Ленка, подари, а?

— Дядя Коля! Он же у меня один! И не закончен ещё! — чуть не плача взмолилась Ленка.

— Ну, я-то тоже один... — шутливо проворчал Рубцов. — Ладно уж. Пусть... А то я ж потеряю, жаль будет. Но копию — мне! Заказным! Слышишь?

— Вот вам, Коля, в дорогу. Бутерброды. С сыром. А то когда ещё поедите... — протянула ему Настя небольшой свёрток.

— Настя, да вы ж меня закормите... Ну куда мне... — запротестовал было Николай, но, пораздумав, опустил свёрток в свой чемоданчик.

Он всунулся в своё пальтецо, нашупал ногами ботинки, влез в них, потоптался и вздохнул.

— Прощевайте. Увидимся... Может быть.

— Нет уж, Коля. Мы тебя проводим. Нельзя так... — засобирался Мягченков. — Серёга, ты как?

— Спрашиваете! Конечно!

— Вы только смотрите не напривожайтесь! Коле ехать вечером, не забудьте! — предостерегла Настя. И на лице её отразилась всепонимающая безнадёжность.

— Ни-ни, мы и через город-то не пойдём. Мы на 70-й километр, там как-то привольнее... И идти приятно, природа... Ну его, этот вокзал! — яростно замахал руками Мягченков.

— Смотрите! — усмехнулась Настя. — Что ж, Коля. До свидания, — особо нажала она на последнее слово.

— До встречи. Себя берегите. Вы нужны. Всем нам...

— Да чего уж... Увидимся. Приеду... — пробормотал Николай, неуклюже махнул рукой Насте и Ленке и бочком выкатился из полуоткрытой двери.

И небыстро, задумчиво шествовали они втроём одно-

этажными полудеревенскими окраинами Клязьминска, шурша пальмы листьями и перепрыгивая лужи. Впереди шёл, размахивая чемоданчиком, Рубцов, и концы его шарфа беспорядочно метались из стороны в сторону. Следом, долговязо сутуясь и сверкая очками из-под берета, аистом выступал Мягченков. Сергей шёл замыкающим. А вдоль дороги бушевали осенним разноцветьем клёны, липы и тополя — ярко-жёлтые, багряные, бурые... И тянулась к ним отовсюду — с обочин, из садов и палисадников — доверчивая, обильная, кроваво-красная рябина. На фоне тёмных мокрых заборов и бревенчатых домиков она была по-особому ярка и живописна. Николай не удержался, сорвал пригоршню и закинул в рот. Пожевал, обернулся, выплюнул красную кожуру.

— Эх, злая! — с каким-то даже восхищением сморщился он. — Вяжет... Не было ещё морозца-то. Ничего, подобреет... А и то — осень. Сладкие-то ягоды отошли уже. Горечь одна. Не-ет, ребята, что ни говорите, а всё разумно... Разумно, — и, словно ответив на какой-то тайный свой вопрос, повернулся на каблуках и не спеша пошёл дальше.

— Да что — рябина... Видимость одна, всё равно клещи сожрут. Она и хороша только на конъяке, — устало проговорил Мягченков. — Вот это — вещь. А так...

— Это ты к чему? — резко обернулся Николай и искаса, боком, будто желая клюнуть, оглядел Мягченкова.

— Да. И к этому тоже. Дабы твёрд был твой посох, Николай Михальч. Как? — и Мягченков выразительно шмыгнул носом.

— Ох, и развёл дипломатию, акула пера! И ещё спрашивает! — всплеснул руками Николай. — Только я... Сам понимаешь! — и выразительно хлопнул себя по карманам.

— Не боись. Расхлопался тут... Вон, магазин впереди! — по-ленински воздел руку Мягченков. И все трое решительно ускорили шаги.

— Эх, здорово тут! — воскликнул Николай, уже вернувшись и ссыпая в ладонь приятеля сдачу — мятый рубль с копейками. — Прямо деревня, так запросто! Да, я ж подслушал, как этот магазин здесь называют! Утилька! Хе-хе... Это ж надо!

— Да ну, — махнул Мягченков, — глупо, по-моему. Ну, Коля, где?.. — и выразительно потряс руками.

— Тут, — хлопнул Николай по оттопыренному правому борту пальто. — «Тридцать третий». Ноль-семь. Ну, пошли, пошли куда-нибудь...

— Эх, Коля, Коля... — вздохнул Мягченков. — Пьёшь ты гадость всякую... Взял бы водки, всё полезнее!

— Нет, Митяй. Уж позволь. Водка — это... Это не то. Одуряет она, глушит. Да и кончается быстро. Суетливая

штука какая-то, не уважаю... — рассуждал шагающий впереди Николай. — А вино — другое дело. Размыслительное, неспешное. И больше его... И из горла можно. Нет, Митяй, ты не понимаешь. И потом, — резко вскинулся он, — кто кого провожает? Вот и не умничай. Вodka... И, зараза, не вздумай доктора к водке приучать! — потряс он кулаком. — Сопьёться и ничего не напишет!

— Да ладно тебе. Пришли. Сворачивай! — проговорил Мягченков. По мокрой скользкой тропинке свернули они с дороги, прошагали какими-то кустарниками и вышли к берегу маленькой речушки, притока Клязьмы.

— Ишь ты... — хмыкнул Николай. — Благодать-то... Проезжал — не видел. Прямо-таки прошлый век... Хоть картину пиши...

И действительно, речка давала в этом месте изящный вытянутый изгиб. Чуть поодаль вздымался массивный кирпичный железнодорожный мост, а за ним виднелась старая плотина и красные корпуса текстильной фабрики с высокой трубой. А по сторонам и позади — всё те же зелёные, серые, сурковые крыши маленьких домиков, слуховые окна чердаков и осенне разноцветье деревьев... И над всем — серое, с редкими синими окошками небо.

— Чёрт его знает, люблю я... Вот это всё. Деревня — скучно. Современные города — вообще тоска, терпеть не могу... А вот это — мёё. Тут — всё. Ещё бы пароходик какой пустить! Люблю пароходы, страсть просто... — бормотал Николай, открывая бутылку.

— Тесновато для пароходика-то, — заметил Сергей.

— Не, в самый раз. Вот в таких вот городках теперь и живёт настоящая поэзия. От старой России уже нигде ничего не осталось. Искал. Не нашёл. А это... Это, конечно, другое, но среди всего самое наше и есть. Ну ладно, без тостов... Каждый за своё. В главном сойдёмся! — махнул рукой Николай. Портвейн был терпким, жёстким и немилосердно отдавал жёжёным сахаром.

— Горелый какой-то, — проговорил Сергей, смаргивая слезу. — Уф-ф! А в общем... В общем, хорошо, — пробормотал он, чувствуя разлитие по животу мягкого, лёгкого, щекочущего тепла.

— Ага! — торжествующе воздел палец Николай. — Вот в этом-то и сходимся! Живём трудно, пьём горько, а в общем — всё хорошо. Всё хорошо, ребята, пока вот это всё, — он повёл рукой вдаль, — у нас есть. С этим и уксус сладок! — он поставил бутылку на какой-то пень, достал пачку «Беломора» и закурил.

— А лучше всего то, что никуда это от нас не денется! И сто лет, и двести — всё будет так же... — блаженно протянул чуть захмелевший Зуев.

— Не скажи, — невесело отозвался Николай. — Не будем

ценить — рухнет всё это. И кто мы тогда будем? Не думал? А я вот думаю. Расслабились мы, разленились слишком. Жрём, пьём, ещё кое-что делаем... И довольны. Будто в том жизнь и состоит... Лишь бы день прошёл. А это не дни, это жизнь наша проходит, чёрт подери! — и, пыхнув дымом, он бегло глотнул из бутылки, и, держа её в одной руке, а папиросу — в другой, он по-дирижёрски зажестикуировал. — Если бы так рассуждали, там, инфузории какие или амёбы... Это понятно, это простительно. А люди? Природа старалась, из сил выбивалась, тратилась... Для чего? Неужели не стыдно? Вот не понимаю! Хоть тресни! — и острый нос Николая опять стал похож на задиристый воробышний клюв.

— Руками-то не очень... Расплещешь, — буркнул Мягченков, забирая у него бутылку.

— Да и хрен с ней! — не унимался Николай. Он снова задёргался, заходил из стороны в сторону мелкими шагами. — Вот где она — прежняя-то Россия? Исконная? А? Нет. Нет её. Профукали вот так же, походя. Другие пришли, посильнее. Переиначили. Спасибо, вконец не угробили. И опять уснули... Только ведь придут и третья. И тогда всё, труба! Нет, нельзя нам успокаиваться, ребята, никак нельзя!

— Ну, Николай Михалыч... — отдуваясь после очередного глотка, выговорил Сергей. — Сколько у вас безнадёги... Это ж повеситься можно!

Мягченков выразительно хмыкнул.

— Можно и повеситься, отчего же... Если раньше не удавят. Как Есенина... Вот уж кому грустно было! Он всё-ё понимал! — погрозил кому-то пальцем Рубцов. — «Я последний поэт деревни»... А мне и того хуже. Я — последний поэт России, раз на то пошло! Я, может, единственный и слышу её как следует... И вам сейчас говорю — не отгрохотало в ней ещё, не отзвенело. Не верьте вы этой тишине, обманка это! — выкрикнул он, бросил с размаху оземь окурок и затоптал, размазал его башмаком.

— Но что делать-то, Николай Михалыч... Делать-то что? — развёл руками Сергей.

— Не знаю! — крикнул Николай. Я своё — делаю. Мне вот так хватит! Да вы только послушайте этих болтунов, у них же «русский» — ругательное слово! Спросите, что ли? Ох, боятся, сволочи, что мы очнёмся!

— Тихо, Коля, тихо... Не буйя! Выпьем лучше и тишину послушаем... Она поумнее нас будет, — уверяющее проговорил Мягченков.

— Да, — как опомнился Рубцов. — Это ты верно... Верно, Митяй...

Помолчали.

— Эх, Коля... Не хватает над нами сейчас твоих жу-

рavлей, – мечтательно вполголоса протянул Мягченков.

– Да нет, Митяй. Здесь они... Где-то близко. Я что-то такое слышу... Слышу, – тихой скороговоркой ответил Рубцов. – Пора у них. Та самая. Пора отлёта. Как у меня...

Мягченков пытливо, но как-то испуганно поглядел на него.

Прошла по последнему кругу и полетела в кусты бутылка. И стояли они среди жёлтой подмосковной осени чуть поникшие, охваченные этой грустной, но светлой поэзией увядания, и до боли в глазах взглядывались в подёрнутое белой пеленой сентябрьское небо. И колыхал лёгкий ветерок длинные концы рубцовского шарфа...

– Ну... – проговорил Николай, глубоко вздохнув, – пошли...

И, не оглядываясь на спутников, зашагал по тропинке, заложив свободную левую руку за отворот пальто и помахивая чемоданчиком в правой. Смотрел он будто бы вниз, но явно не под ноги, потому что то и дело наступал в грязь и лужи. Мягченков и Зуев, переглянувшись и пожав плечами, устремились за ним. Он шёл быстро, и расслабленные портвейном провожатые заметно приотстали. Мягченков, озорно глянув на Зуева, рванулся с места, неслышно, на цыпочках, догнал Николая и дёрнул его сзади за хлястик. Николай озадаченно и как-то удивлённо обернулся. Глаза часто, как спросонья, моргали. Он тряхнул головой, будто отгоняя комара.

– Ты чего шалишь? Оторвёшь же, мне и пришить негде. Ну, чего? – ожидающе тряхнул головой он, будто понял наконец, где находится и кто перед ним.

– «Чего»! – передразнил Мягченков. – Разлетелся, не догонишь! Успеем же!

– Да я же... – пожал плечами Николай. – Я так... – и коснулся лба. – Зарапортовался, бывает; – и с полуулыбкой махнул рукой.

– Слушай, Коля, я ведь чего... Надо же решать что-то. Когда увидимся-то – Бог знает. Ты... – Мягченков почему-то медлил, словно боялся рассердить.

– Я привезу, Митяй. Или передам с кем. Я помню, не переживай, – Рубцов осторожно коснулся его рукава и, прикрыв глаза, утвердительно кивнул.

...На платформе полустанка было тихо и безлюдно. Постояв и поозиравшись, Рубцов подошёл к растущему тут же, за перилами, большому развесистому клёну и весь оказался в его жёлтых объятиях.

– Эх, мать честная, хорошо-то как! – наслажденно выдохнул он. – Как солнышко! И будто даже греет, а! Ах, здорово! И грустно. Деньки-то последние та-

кие... А там – осень. Голая, мокрая... И зима. Бр-р, вообще полярная ночь! Хоть порадоваться напослед... – и мечтательно прикрыл глаза.

– Ты, Коля, скажи лучше, когда приедешь? – улыбнулся Мягченков.

– Приеду? – переспросил Рубцов и вдруг помрачнел. – А чёрт его знает... Да что сейчас об этом, пerezимую, дай-то Бог, и приеду. Я ж вообще путешествовать задумал. Мало ли мест... Добивает меня это городское житьё, мать его... Вот и загляну. На пару деньков. Больше-то сами не выдержите... Да не кривись, Митяй, я же понимаю. Нравится мне у вас. И хочется как-то... Приятное вам сделать, вот. Доктора вот пригласим... Только, Митяй, никого больше, ладно? Ну их всех в баню...

– Ладно, Коля, ладно. Но давай, чтоб железно, а? Ты нам очень нужен. И дорог. Я не кривляюсь, – тихо, еле слышно проговорил Мягченков.

– Да нет у меня в жизни ничего железного, Митяй, – с прежней ехидцей улыбнулся Рубцов. – Всё на соплях... Вот и электричка! – и в его вздохе послышалось явное облегчение. – Ну, Митяй, бывай! Пиши, адрес простой. Вологда, Яшина, 3–66. Придёт быстро, у меня почта на первом этаже! Ну, будь! – и они с Мягченковым коротко обнялись.

Электричка, погромыхивая, остановилась. Зашипев, распахнулись двери.

– Ну, Серёжа... Прощавай. Жму твою исцеляющую. Может, когда и опять придём с Митяем к тебе в поликлинику... Жди! Спасибо, мужики, хорошо с вами было. Да, Митяй! Та штуковина, которую обещал... Сделаю. Погоди, только отлежится чуть-чуть... Сделаю лучше. И, цепко пожав руку Сергею, Рубцов шагнул в тамбур, повернулся к ним, снял кепку, махнул неуклюже. Двери захлопнулись, и электричка, подывая, покатилась жёлтым осенним коридором просеки... И Зуев с Мягченковым, понурясь, долго глядели ей вслед.

– Вот так-то, – вздохнул Мягченков. – Вот и проводили...

...Отсыпала листьями, отшелестела дождями, отхлюпала грязью осень, грянула зима, отшумел негромкий, нецветистый в этих краях Новый год. И наступил переменчивый – с морозами и оттепелями – январь. В этот день с крыши поликлиники долго и нудно падала, сопливо чмокая, капель. Как всегда, припозднившись, Сергей последним отправился домой и, спускаясь с крылечка, обрадовался летящим прямо в лицо крупным снежным хлопьям. Спустился, постоял наслажденно, ловя лицом, ртом, глазами долгожданные

снежинки, заоглядывался и увидел выходящего из-за угла Мягченкова. Он шёл по привычке размашисто, но как-то заторможено, будто боялся поскользнуться и упасть. На нём поскрипывало франтоватое кожаное пальто, а на голове сидела изящная замшевая шапка с меховыми ушами. Но она была надвинута почти на самый нос, да и во всём облике Мягченкова чувствовалась какая-то болезненная неаккуратность, так не свойственная ему.

— А-а, Дмитрий Андреич! — радостно приветствовал его Зуев. — А... А вы один? — и хитро сощурился, пытаясь заглянуть за спину приятеля.

— Один, Серёжа... Один, — глухо и хрипло отозвался Мягченков, пытаясь спрятать глаза. Отчаянные. Пере-пуганные. Красные. Блуждающие. На щеках журналиста была густая сизая жёсткая щетина. Он невпопад мотнул головой и пошатнулся, придержась за дерево.

— Что... Что с вами, Дмитрий Андреич? — не на шутку испугался Сергей.

Мягченков попытался улыбнуться, но улыбки не получилось. Лишь растянулись беспомощно губы и натужные морщинки пробежали по уголкам воспалённых глаз.

— Со мной? Ничего... Как видишь. Пью... — развёл он руками.

— Да что? Что случилось-то?

— Случилось, Серёжа. Случилось... Не верю, не понимаю... — он помотал головой, нагнулся, зачерпнул в пригоршню мокрого снега, приложил ко лбу. Снег осыпался из-под руки кляксами на пальто, а по лицу потекли струйки воды, как обильные слёзы. — Не могу поверить... Николай... Погиб, — и отчаянно, обессиленно уронил руки, так и остался с отекающей снежной блямбой на сморщенном лбу. К горлу Сергея подкатил шершавый, удущливый комок.

— К-как? — сухим, сдавленным горлом просипел он.

— Почему?..

— Вот так... — всхлипывающе вздохнул Мягченков.

— Сам не знаю толком... И не верю. По пьянке, говорят, там вышло что-то... С бабой. Полаялись, подрались... Ну и... Она в кутузке, а он... Похоронили сегодня. В Вологде...

— М-мм, — по-звериному промычал Сергей, схватившись за виски. — Да как... Да что же... Господи, чушь какая! Бред... Да что ж это делается-то?! — выкрикнул он, с отмашкой сжав кулаки.

— Ничего, — тяжело выдохнул перегаром Мягченков.

— Ничего уже не делается... Всё сделалось, Серёжа. Вот так-то... Это судьба... Судьба, — и он судорожно захлопал по карманам, достал мятую, скомканную

пачку «Явы», вынул полууспешную сигарету и, ломая спички в дрожащих пальцах, стал прикуривать. Видя его беспомощность, Сергей отобрал у него коробок и зажёг спичку. Мягченков жадно затянулся, выпустил большое облако дыма и застыл, глядя пустыми глазами в меркнущий январский день. Снежная блямба на лбу растаяла, и, казалось, уже настоящие слёзы текут по его растерянному, заросшему лицу.

— Он знал... Он всё знал... всё... — хриплым, плачущим голосом опять заговорил он. — Помнишь это — «я умру в крещенские морозы»? И вот... Девятнадцатого... В ночь. Вот так, Серёжа. Вот так-то...

— С ума сойти... — побелевшими губами прошептал Сергей и вспомнил ту спокойную убеждённость, с которой тогда, осенью, читал им эти стихи Рубцов. И Зуева затрясло. — Ужас... Ужас какой! Это же гений! Гений! Глупость... Гадость какая! — и хрестнул что было силы по стволу старой липы. Взвыл от боли, но ледяной, мертвящий ужас вроде бы испугался и отпустил.

— В том, видно, и дело, Серёжа... — глухо проговорил Мягченков. — Гений. Вот и ты понял... К этому всё и шло. И он знал... Но так угадать! Немыслимо... И всего-то тридцать пять лет... Эх, Россия!

— Тридцать пять?! — аж присел Зуев.

— Да, Серёжа. Тридцать пять... Чувствовал я, чувствовал — что-то будет... Я чувствовал. А он знал... И вот. Это судьба... Судьба. М-мм, — замотал головой Мягченков и сжал отвороты пальто на груди.

— Не могу. Как жжёт что-то, палит... Пережить бы...

— Пойдём, Дмитрий Андреич... Пойдём отсюда, хватит здесь... Ко мне пойдём. Водки выпьем, вместе обгорюем... Не надо тут. Пойдём...

И, взяв Мягченкова под руку, повёл его узким проходчиком от поликлиники. Тот побрёл рядом. Так и скрылись они в пелене сумерек и снега, прибитые горем и осиротевшие...

А потом до полуночи сидели они на летней террасе у Зуева, отрешённо пили водку и яростно стучали стаканами о стол, не чувствуя ни хмеля, ни промозглого холода. Говорили мало, и в голове Зуева билось и звенело только одно: «Что будет?.. Что теперь будет?..» В какой-то кромешный момент он, заплетаясь, произнёс это вслух. Мягченков поднял голову от стола, встряхнулся и стеклянно поглядел на Сергея.

— А ничего... — глухо, как в бочку, отозвался он. — Ничего не будет, не боись... В этой стране, Серёга... Ничего и никогда уже не изменится. Ни-че-го! — и бессильно уронил голову на руки.

Этой ночью Зуев жестоко простыл и две недели провалялся дома с остройшим бронхитом. Долго держа-

лась температура. С трудом узнавал Сергей мать, поившую его водой по ночам, еле выдерживал, ослабевший, нудные визиты друзей и сослуживцев. Навещал его и Мягченков. Однажды с таинственным видом он раскрыл портфель и таким же жестом, каким доставал из него бутылки, извлёк маленькую книжечку в мягкой обложке. «Николай Рубцов. Звезда полей. Стихотворения. 1967 г.», – прочитал Сергей и светло улыбнулся. Но чтение не шло. Болели глаза, кружилась голова, а к ночи наваливался жар и наплывали бредовые виденья, страшные своей отчётливостью и логикой. Из тёмного угла комнаты вкрадчиво поначалу, а потом ясней и ясней начинал звучать знакомый голос:

*Я умру в крещенские морозы,
Я умру, когда трещат берёзы...*

Звучал – и нагонял ужас своей спокойной уверенностью в незыблемой правоте. И чудилась смурная, залитая серой водой бескрайняя равнина, и резкий, истеричный, уже не рубцовский голос гремел над ней:

*А весною ужас будет полный:
На погост речные хлынут волны,
Из моей затопленной могилы
Гроб всплыёт, забытый и унылый...*

И на самом страшном месте, когда хотелось уже сжаться в комок и пронзительно завизжать, кто-то невидный, несильный, но упорный и настойчивый осторожно брал за локоть и твёрдо вёл с собой. И слышалась смешливая, успокаивающая скороговорка: «Ну и чего ты испугался-то? Гробов, что ли? Эка невидалъ... Да то ли ещё будет, брат Серёга, то ли будет... Хорошо, не дожил. А это не страшно, нет...»

И шли они, как летели, над водой, – Зуев и спутник его невидимый, – и отпускали сердце железные клещи ужаса, и виделись уже невдалеке тёмные островки земли, и вот уже суши внизу, милые уютные домики с антенами на крышах... «Не верь... – бормотал невидимый проводник. – Не верь, Серёга, тишине этой... Бедой она обернётся. Вспомним ещё, пожалеем, да поздно будет... Только чудо спасёт...» И пропадал, оставив Сергея одного в этих непонятных, зыбких и зябких местах. Зуев падал куда-то, просыпался, пил воду, скрипя зубами о край чашки. И снова засыпал, и видел себя в какой-то молочно-белой пелене. Вокруг стоял невыносимый людской гомон, и из него прорисовывались отдельные голоса:

– Поэт... На всю Россию поэт!

– Пропился, пьяница! Самого себя пропил! Деревня!
– Да что о нём говорить-то? И жил грешно, и помер смешно...

– Да заткнитесь! Постыдились бы... Он же слышит! Он всё слышит! – и с этими словами на устах Зуев просыпался.

Но кончилось и это. Жизнь, качнувшись было, снова покатилась своим обычным чередом. По-прежнему работал в московском журнале Мягченков. Всё так же лечил своих болезных и страждущих Сергей. Прошли годы, он женился, воспитывал сына, обзавёлся солидным докторским брюшком... Жизнь ладилась и временами даже улыбалась. Но те совсем ещё недавние события наметили в нём странную перемену. Стихов он больше не писал. Но стал чувствительнее, тревожнее и – самое главное! – научился прислушиваться. Никаких «печальных звуков» он, конечно, не слышал. Но полюбил тишину. И в редкие минуты особой проникновенности начинал он вдруг декламировать любимых рубцовских «Журавлей». Начинал – и прекращал на половине. Душили слёзы. И всё чаще по осени вглядывался он в прохладное небо. Но журавли почему-то всё реже и реже пролетали в эти годы над Клязьминском.

И с непонятным отвращением вспоминал Сергей горькие слова Мягченкова в той тяжкой поминальной пьянке: «В этой стране, Серёга, ничего и никогда уже не изменится... Ни-че-го!» Что-то в них нестерпимо коробило Зуева. Оттого и запомнилось. Хотя и в самом деле ничего не менялось. И ничего страшного в России – пока! – не происходило...

2005 г.

